

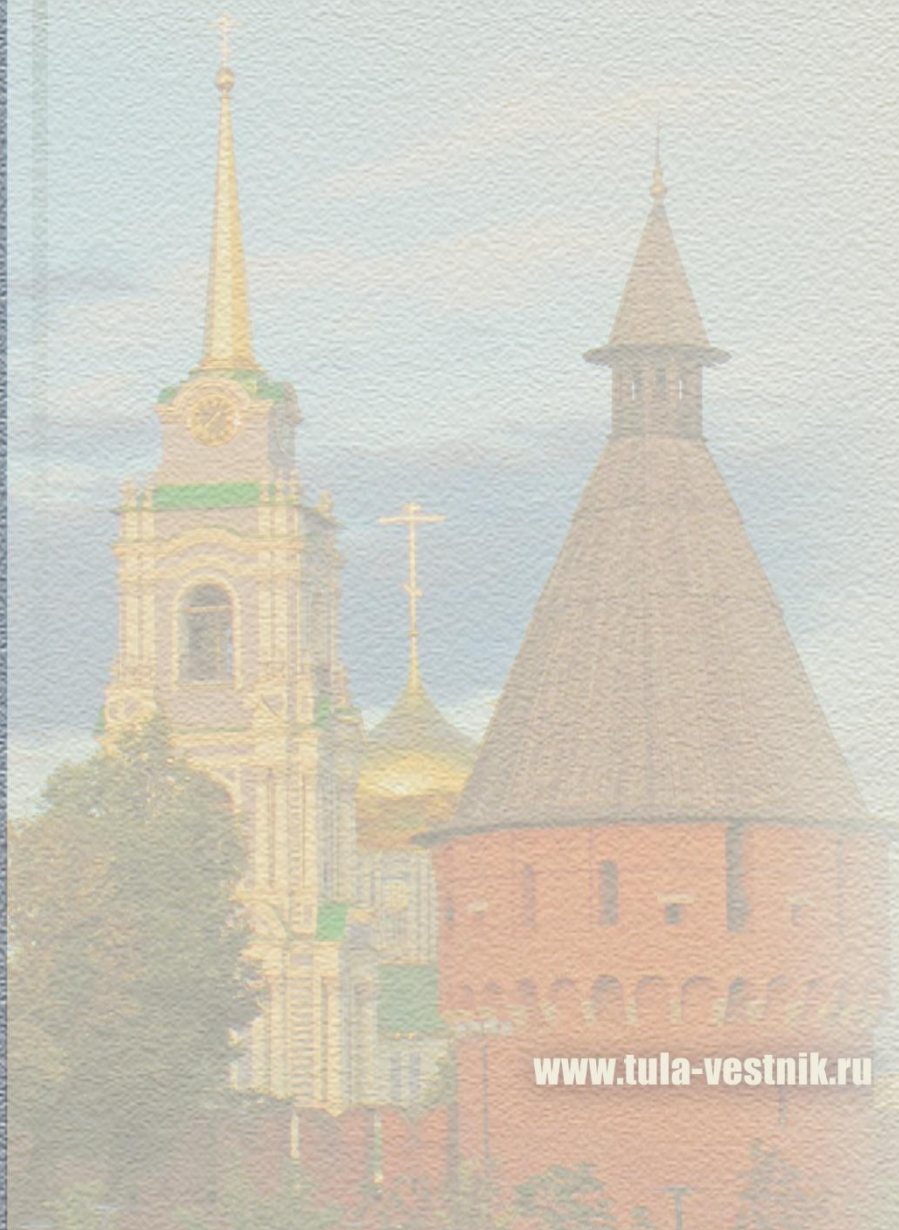
СЕРИЯ ИСТОРИЯ. ЯЗЫКОЗНАНИЕ

2020

ISSN 2712-8407

ТУЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Выпуск 3 (3)



www.tula-vestnik.ru



ISSN 2712-8407

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный педагогический университет
им. Л. Н. Толстого»**



**ТУЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК.
СЕРИЯ ИСТОРИЯ. ЯЗЫКОЗНАНИЕ**

Выпуск 3 (3)

**Тула
2020**

**ТУЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ
ВЕСТНИК.
СЕРИЯ ИСТОРИЯ.
ЯЗЫКОЗНАНИЕ**

Сетевое издание
Основан в 2020 г.

Выходит 4 раза в год

Выпуск 3 (3)

Дата выхода в свет: 21.12.2020 г.

Главный редактор –
доктор исторических наук,
профессор
Е. П. Мартынова

**Заместитель
главного редактора –**
доктор филологических наук,
профессор
Г. В. Токарев

Ответственный редактор –
кандидат исторических наук
Н. А. Биленко

**Учредитель: ФГБОУ ВО
«ТГПУ им. Л.Н. Толстого».**
СМИ зарегистрировано в
Роскомнадзоре 13.11.2020 г.
Свидетельство о регистрации
СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 79586

ISSN 2712-8407 (online)

© ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2020
© Авторы статей, 2020

Адрес учредителя и редакции:
**300026, Тульская область,
город Тула,
проспект Ленина, 125.**
Телефон: +7 (4872) 31-20-34
Электронный адрес:
history@tsput.ru

**Издатель: ФГБОУ ВО
«ТГПУ им. Л.Н. Толстого».**
Адрес издателя:
**300026, Тульская область,
город Тула,
проспект Ленина, 125.**
Телефон: +7 (4872) 35-14-88
Электронный адрес:
info@tsput.ru

СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКА

ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ И ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ

- Шушунова Е. В.* Особенности представлений населения античных городов Северного Причерноморья о «потусторонних мирах» и «потусторонних покровителях» в первых веках нашей эры в контексте культа почитания предков **6**
- Матвейчев О. А.* Свенельд – основатель династии Рюриковичей? К постановке вопроса **15**
- Белов А. В.* На пути к «Артаксерксову действию» Преображенского театра: театральные традиции и зрелища в России в первой половине XVII в. **28**
- Секенова О. И.* Историки на отдыхе: повседневная жизнь санаториев ЦЕКУБУ и Академии наук в 1920 – 1960-х гг. **39**

**ПАМЯТИ ПИСАТЕЛЯ: К 110-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ СМЕРТИ Л. Н. ТОЛСТОГО**

- Абрамова В. И.* Образы и детали повести Л. Н. Толстого «Поликушка», транслирующие символику границы **51**
- Дубова М. А.* Мыслительная деятельность рассказчика (на материале рассказа Л. Н. Толстого «Метель») **60**
- Кузнецова Н. А.* Антропоморфный культурный код в педагогическом дискурсе Л. Н. Толстого **68**

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА

- Кошарная С. А.* Символизм слова как результат и инструмент мифотворчества **76**
- Оразбекова В. В.* Аллюзия как средство выражения интертекстуальности в стихотворении И. Бродского «Письма династии Минь» **86**
- Проничева И. А.* Роль культурной коннотации в адаптации семантики заимствованных образов в русской лингвокультуре (на примере 12 знаков по Восточному календарю) **94**

**TULA SCIENTIFIC
BULLETIN.
HISTORY. LINGUISTICS**

Online publication
Founded in 2020.

Published 4 times a year

Issue 3 (3)

Released on December 21, 2020

Chief Editor
Doctor of History, Professor
E. P. Martynova

Deputy Chief Editor
Doctor of Philology, Professor
G. V. Tokarev

Executive editor
PhD in History
N. A. Bilenko

Founder:
Tula State Lev Tolstoy
Pedagogical University.
Mass media are registered in
Federal Service for Supervision
of Communications, Information
Technology and Mass Media
on November 13, 2020.
Registration certificate
EL № FS 77 – 79586

ISSN 2712-8407 (online)

© Tula State Lev Tolstoy
Pedagogical University, 2020
© Authors of articles, 2020

**Address of the founder
and the editorial office:**
300026, Tula,
Lenin Prospekt, 125
Phone: +7 (4872) 31-20-34
E-mail address:
history@tsput.ru

**Publisher: Tula State Lev Tolstoy
Pedagogical University.**
Address of the publisher:
300026, Tula,
Lenin Prospekt, 125
Phone: +7 (4872) 35-14-88
E-mail address:
info@tsput.ru

TABLE OF CONTENTS

**HISTORY OF CULTURE AND PERSONALITY
IN THE HISTORY**

Shushunova E. V. Peculiarities of the representations about "other world" and "otherworldly patrons" among the population of Ancient cities of Northern Black sea region in the first centuries of our era in the context of ancestor worship cult **6**

Matveychev O. A. Sveneld is the founder of the Rurik dynasty? To the question **15**

Belov A. V. On the way to the "Artaxerxes act" of the Preobrazhensky theater: theatrical tradition and spectacles in Russia in the first half of the XVII century **28**

Sekenova O. I. Historians on vacances: everyday life of TSEKUBU and Academy of Science sanatoriums in 1920 – 1960-ies **39**

**IN MEMORY OF THE WRITER: TO THE 110TH
ANNIVERSARY SINCE THE DEATH OF LEO TOLSTOY**

Abramova V. I. Images and details of l. Tolstoy's "Polikushka" which convey symbols of a boundary **51**

Dubova M. A. Mental activity of the narrator (based on the story of Leo Tolstoy "The Snowstorm") **60**

Kuznetsova N. A. Anthropomorphic cultural code in Lev Tolstoy's pedagogical discourse **68**

LANGUAGE AND CULTURE

Kosharnaya S. A. Symbolism of word as a result and tool of myth-making **76**

Orazbekova V. V. Allusion as a means of expressing intertextuality in I. Brodsky's poem "Letters of the Ming dynasty" **86**

Pronicheva I. A. Use of the cultural connotation for adapting meanings of borrowed symbols in the Russian culture (on the example of 12 signs of Chinese calendar) **94**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор

Мартынова Елена Петровна,
доктор исторических наук, профессор (ФГБОУ ВО
«ТГПУ им. Л.Н. Толстого», г. Тула, Россия).

Заместитель главного редактора

Токарев Григорий Валериевич,
доктор филологических наук, профессор (ФГБОУ
ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», г. Тула, Россия);

Ответственный редактор

Биленко Никита Алексеевич,
кандидат исторических наук (ФГБОУ ВО
«ТГПУ им. Л.Н. Толстого», г. Тула, Россия).

Члены редакционной коллегии:

Володина Татьяна Андреевна,
доктор исторических наук, доцент (ФГБОУ ВО
«ТГПУ им. Л.Н. Толстого», г. Тула, Россия);

Красовская Нелли Александровна,
доктор филологических наук, доцент (ФГБОУ ВО
«ТГПУ им. Л.Н. Толстого», г. Тула, Россия);

Симонова Елена Викторовна,
доктор исторических наук, профессор (ФГБОУ ВО
«ТГПУ им. Л.Н. Толстого», г. Тула, Россия).

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Габелко Олег Леонидович, доктор исторических наук, профессор (ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет», г. Москва, Россия);

Георгиева Стефка Иванова, доктор филологических наук, профессор (Пловдивский университет им. Паисия Хилендарского, г. Пловдив, Болгария);

Главацкая Елена Михайловна, доктор исторических наук, доцент (ФГАУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург, Россия);

Глаголева Ольга Евгеньевна, кандидат исторических наук, PhD, профессор (независимый исследователь, г. Торонто, Канада);

Ефремов Валерий Анатольевич, доктор филологических наук, доцент (ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», г. Санкт-Петербург, Россия);

Зубарев Виктор Геннадьевич, доктор исторических наук, профессор (ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», г. Тула, Россия);

Кережи Агнеш, кандидат исторических наук (независимый исследователь, г. Будапешт, Венгрия);

Киреева Елена Закировна, доктор филологических наук, доцент (ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», г. Тула, Россия);

Клейменов Александр Анатольевич, доктор исторических наук (ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», г. Тула, Россия);

Майко Вадим Владиславович, доктор исторических наук (ФГБУН «Институт археологии Крыма РАН», г. Симферополь, Россия);

Масленников Александр Александрович, доктор исторических наук, профессор (ФГБУН «Институт археологии Российской академии наук», г. Москва, Россия);

Мухаммадбеги Махди, кандидат филологических наук (Институт гуманитарных и культурологических исследований, г. Тегеран, Иран);

Непомнящий Андрей Анатольевич, доктор исторических наук, профессор (ФГАУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», г. Симферополь, России);

Новикова Наталья Ивановна, доктор исторических наук (ФГБУН «Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук», г. Москва, Россия);

Протасова Екатерина Юрьевна, кандидат филологических наук, доктор педагогических наук, доцент (Хельсинкский университет, г. Хельсинки, Финляндия);

Пэн Юйхай, доктор филологических наук (Институт иностранных языков Сычуаньского университета, г. Сычуань, КНР);

Романов Дмитрий Анатольевич, доктор филологических наук, профессор (ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», г. Тула, Россия);

Скнарев Дмитрий Сергеевич, доктор филологических наук, доцент (ФГАУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва, Россия);

Степанов Валерий Леонидович, доктор исторических наук (ФГБУН «Институт экономики Российской академии наук», г. Москва, Россия);

Тан Яньфэн, кандидат исторических наук (Северо-восточный педагогический университет, г. Чанчунь, КНР);

Томилини Виктор Николаевич, доктор исторических наук, доцент (ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», г. Липецк, Россия);

Торвальдсен Гуннар, доктор исторических наук (Ph.D.) (Арктический университет Норвегии, г. Тромсø, Норвегия);

Чумак-Жунь Ирина Ивановна, доктор филологических наук, доцент (ФГАУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», г. Белгород, Россия);

Ярцев Сергей Владимирович, доктор исторических наук, доцент (ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», г. Тула, Россия).

EDITORIAL BOARD

Chief Editor

Elena Martynova,

Doctor of History, Professor
(TSPU, Tula, Russia);

Deputy Chief Editor

Tokarev Gregory, Doctor of Philology,
Professor (TSPU, Tula, Russia);

Executive editor

Nikita Bilenko, PhD in History
(TSPU, Tula, Russia);

Members of the editorial Board

Tatiana Volodina,

Doctor of History, Associate Professor
(TSPU, Tula, Russia);

Nelli Krasovskaya,

Doctor of Philology, Associate Professor
(TSPU, Tula, Russia);

Elena Simonova,

Doctor of History, Professor
(TSPU, Tula, Russia).

EDITORIAL COUNCIL

Oleg Gabelko, Doctor of History, Professor
(Russian State University for The Humanities,
Moscow, Russia);

Stefka Georgieva, Doctor of Philology,
Professor (Plovdiv University Paisii Hilendarski,
Plovdiv, Bulgaria);

Elena Glavatskaya, Doctor of History, Associate
Professor (Yeltsin UrFU, Ekaterinburg, Russia);

Olga Glagoleva, PhD in History, Professor
(Toronto, Canada);

Valerii Efremov, Doctor of Philology, Associate
Professor (Herzen University, Saint Petersburg,
Russia);

Viktor Zubarev, Doctor of History, Professor
(TSPU, Tula, Russia);

Kerezi Agnes, PhD in History (Budapest,
Hungary);

Elena Kireeva, Doctor of Philology, Associate
Professor (TSPU, Tula, Russia);

Aleksander Kleymenov, Doctor of History,
Associate Professor (TSPU, Tula, Russia);

Vadim Maiko, Doctor of History (Institute of
archaeology of the Crimea RAS, Simferopol,
Russia);

Aleksander Maslennikov, Doctor of History,
Professor (IA RAS, Moscow, Russia);

Mahdi Mohammad Beygi, PhD (Institute of
Humanities and cultural studies, Tehran, Iran);

Andrey Nepomnyshchy, Doctor of History,
Professor (Vernadsky CFU, Simferopol, Russia);

Natalya Novikova, Doctor of History (IEA RAS,
Moscow, Russia);

Ekaterina Protassova, PhD in History, Doctor
of Pedagogical, Associate Professor (University
of Helsinki, Helsinki, Finland);

Peng Yuhai, Doctor of Philology (Institute of
foreign languages of Sichuan University,
Sichuan, China);

Dmitry Romanov, Doctor of Philology,
Professor (TSPU, Tula, Russia);

Dmitry Sknarev, Doctor of Philology, Associate
Professor (RUDN University, Moscow, Russia);

Valerij Stepanov, Doctor of History (IE RAS,
Moscow, Russia);

Tang Yanfeng, PhD in History (Northeastern
Pedagogical University, Changchun, China);

Victor Tomilin, Doctor of History, Associate
Professor (LSPU, Lipetsk, Russia).

Gunnar Thorvaldsen, Doctor of History
(Arctic University of Norway, Tromsø, Norway);

Irina Chumak-Zhun, Doctor of Philology,
Associate Professor (Belgorod State National
Research University, Belgorod, Russia);

Sergey Yartsev, Doctor of History, Associate
Professor (TSPU, Tula, Russia).

ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ И ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ

УДК 94(3)
ББК 63.3(0)3

Дата поступления статьи: 03.12.2020
Дата решения о публикации: 11.12.2020

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ АНТИЧНЫХ ГОРОДОВ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ О «ПОТУСТОРОННИХ МИРАХ» И «ПОТУСТОРОННИХ ПОКРОВИТЕЛЯХ» В ПЕРВЫХ ВЕКАХ НАШЕЙ ЭРЫ В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТА ПОЧИТАНИЯ ПРЕДКОВ

Е. В. Шушунова

Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого
(г. Тула, Россия)

Аннотация. Статья посвящена вопросу религиозной жизни населения Северного Причерноморья в первых веках нашей эры, отношению к смерти и посмертию. В первых веках нашей эры на всей территории Северного Причерноморья усиливаются представления связанные с бессмертием души и ожиданием гораздо лучшей участи после смерти. Античная мифология приобретает новые специфические черты, которые находят свое выражение в образах старых богов, которые наделяются новыми сакральными функциями. Сохранение основных функций этих богов и распространение культа предков в первых веках происходит на основе общего усиления хтонизма и сотерических функций в сакральной жизни античного населения. В данной статье автор выделил особенные черты типичные для населения античных городов Северного Причерноморья в первых веках нашей эры и касающиеся представлений о «потусторонних мирах» и «потусторонних покровителях» в контексте культа почитания предков.

Ключевые слова: потусторонние миры, потусторонние покровители, Северное Причерноморье, культ, культ предков, хтонизм.

UDC 94(3)
LBC 63.3(0)3

Date of receipt of article: 03.12.2020
Date of publication decision: 11.12.2020

PECULIARITIES OF THE REPRESENTATIONS ABOUT "OTHER WORLD" AND "OTHERWORLDLY PATRONS" AMONG THE POPULATION OF ANCIENT CITIES OF NORTHERN BLACK SEA REGION IN THE FIRST CENTURIES OF OUR ERA IN THE CONTEXT OF ANCESTOR WORSHIP CULT

E. V. Shushunova

Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University
(Tula, Russia)

Abstract. The article focuses on the religious life of the population of the Northern Black Sea region in the first centuries of our era, their attitude to death and posthumous life. In the first centuries of our era, the ideas associated with the immortality of the soul and the expectation of a much better fate after death are reinforced throughout the Northern Black Sea Region. Ancient mythology acquires new specific features, which are expressed in the images of the old gods, who are endowed with new sacred functions. Preservation of the basic functions of these gods as well as the spread of the cult of ancestors in the first centuries is based on the general strengthening of chthonism and soteric functions in the sacred life of the

ancient population. In this article, the author highlighted the special features typical for the population of ancient cities of the Northern Black Sea Region in the first centuries of our era and relating to ideas about "other worlds" and "other world patrons" in the context of the worship of ancestors.

Keywords: *other worlds, otherworldly patrons, Northern Black Sea region, cult, cult of ancestors, chthonism.*

Отношение к смерти и посмертному существованию менялось на протяжении всей античной истории. Во всех древних городах, независимо от того, в каком регионе античной ойкумены они находились, большое значение придавалось исполнению основных правил общепринятых ритуалов, связанных со смертью человека. О смерти в свое время красноречиво писал Софокл в трагедии «Антигона»: «В мире много сил великих, / Но сильнее человека / Нет в природе ничего... / Создал речь и вольной мыслью / Овладел, подобный ветру, / И законы начертал, / И нашел приют под кровлей / От губительных морозов, / Бурь осенних и дождей. / Злой недуг он побеждает / И грядущее предвидит, / Многоумный человек. / Только не спасается, / Только не избегает / Смерти никогда» [Soph. Ant. 367–369, 389–400] [21, с. 47]¹. Знание и понимание неизбежности ухода из земной жизни, но вместе с тем нежелание примириться и окончательно поверить в ее трагический исход, хотя с верой в то, что достойная смерть может быть лучше, чем жизнь, и можно начать новую жизнь в ином мире способствовали возникновению культов местных героев и предков.

Дифференциация двух потусторонних миров мертвых в разных традициях и на разных стадиях развития мифологического, а позже и религиозного взгляда на мир базировалась на разных верованиях: умерший отправлялся в верхний или нижний мир в зависимости от меры соблюдения ритуальных предписаний, от рода смерти, и социального статуса, а позднее, с развитием идеи загробного воздаяния, – от оценки его поведения в земной жизни [20, с. 454–455].

Отношение к смерти и посмертию выступает в качестве квинтэссенции философской и религиозной мысли эпохи. В этом отношении особый интерес вызывает изучение особенностей в представлениях населения античных городов Северного Причерноморья о «потусторонних мирах» и «потусторонних покровителях» в первых веках нашей эры в контексте культа почитания предков. Постараемся выделить некоторые из них.

В культурном отношении Северное Причерноморье представляло собой очень своеобразную часть античного мира. Это своеобразие, прежде всего, определялось взаимодействием двух разных культурных начал – греческого и местного, и находило проявление во всех сторонах как материальной, так и духовной жизни населения Северного Причерноморья.

Греки принесли в Северное Причерноморье все достижения духовной культуры метрополии (мифы о богах и героях; религиозные праздники; шествия; театральные представления и т.д.). Среди народов, с которыми столкнулись эллины, были как вошедшие в стадию создания собственных государств, так и не вышедшие за рамки потестарных образований.

Культы в античных государствах Северного Причерноморья представляли собой весьма сложную картину. Кроме греческих культов, в античных городах Северного Причерноморья были распространены и местные или иные негреческие культы. Иногда в одном божестве объединялись черты и греческого, и близкого ему скифского или другого местного бога.

В впервые века нашей эры на территории античных городов Северного Причерноморья происходит трансформация религиозных представлений в сторону усиления хтонической составляющей традиционных верований и широкого распространения защитных функций, а также магии и колдовства, что напрямую касается и ритуальных действий, связанных с почитанием предков.

Особое место среди культов приобретает культ почитание предков-покровителей. С выявлением родовой аристократии, концентрирующей в своих руках и землю, и власть, и экономическую силу, и моральный авторитет, именно родоначальники родов выделяются как объекты почитания. Со временем круг почитателей того или иного предка расширялся, культ обрстал новыми формами и функциями и обретал весьма серьезное значение, приобретая черты полисного культа. В этой связи отметим, что изображения умерших предков (посмертные маски и бюсты) делались задолго до того, как появились изображения богов.

Как известно, боги издревле выступали хранителями и защитниками местности. Приобщение к высшей власти, обожествление, желание предстать бессмертным, всего этого можно было достичь путем отождествления себя с богом, обладавшим высшей божественной волей. Ведь все события в жизни человека всегда были стимулированы божественным началом. Как и большинство древних народов, население Северного Причерноморья полагало, что тень умершего поддерживает связь с живыми и нуждается во всем том, что имела при жизни. Теперь религиозное сознание не может смириться с безрадостной перспективой бродить бесплотной тенью в Аиде. Захоронение умершего в античную эпоху, утратив связь с публичными проявлениями культа, становится священной обязанностью не рода или племени, как это было ранее, а сравнительно небольшого коллектива – семьи, являвшейся основной экономической ячейкой общества [10, с. 160; 22, с. 211]. Почивший родственник в представлении домочадцев не только удостоивается блаженной участи, но и может оказать влияние на судьбу потомков.

С культом предков, как таковым, неотъемлемо связаны многочисленные изобразительные символы. Так как череп является самым очевидным изобразительным символом, связанным с культом предков, с ним нередко производили танцевальные движения (череп служили воплощением самих умерших предков), подобно детям, играющим с куклой. Обряды, в которых принимали участия куклы, всегда были театрализованы и включали ритуальные танцы. Благодаря этому потомки рассчитывали на воссоединение с духом своего предка. У многих народов символом предка выступала именно кукла. По некоторым версиям, известные нам с детства герои Арлекин и Петрушка, тоже связаны с архаичными мистериями культа мертвых [20, с. 119]. Куклы были призваны воплощать дух предка. Они различались по атрибутам и раскраске. К примеру, у римлян был известен обычай выносить к пиршественному столу серебряную куклу мертвеца – лария [20, с. 126]. Вот и духи Лары считались воплощением предков. Особым местом почитания ларов были перекрестки: перекресток считался местом, откуда открываются пути во все сферы космоса, в том числе на тот свет. Недаром именно на перекрестках появлялась богиня смерти и колдовства Геката [20, с. 95]. Обычно ее изображали с собачьими головами или с изображениями собак [Scoph. frg., 492]. Ей приписывали дорожно-охранительные функции. Более того охранительно-дорожные функции богини были непосредственно связаны с обрядом очищения, во время которого молодые собаки приносились в жертву божеству [Sofron.InScholastica, Lycophr., 77; Plutarch, Quaest. Rom., III, 52, 68].

Церемонии, связанные с культом предков, предполагали символическое участие в совместных трапезах, иногда состязаниях и играх. В этих церемониях живые должны были выполнять роль мертвецов. Сейчас, конечно, трудно сказать, насколько верили ряженные, что они перевоплощаются в предков во время церемоний культа предков. Но как бы то ни было, представления, связанные с культом предков, устраивались регулярно. Маски и атрибуты, задействованные в данных церемониях, были страшными и смешными, гротескными и зачастую соединяли в себе черты человеческого и потустороннего. Но главной составляющей всегда оставалось обожествление и наделение сверхъестественными качествами конкретного человека – предка. Ведь для потомков именно он был связующим звеном между миром живых

и потусторонним миром мертвых. Мертвецы во время таких ритуалов «приглашались», а затем «изгонялись» на тот свет.

Уже в римское время население стремится увековечить образ и деяния умершего не только в портрете, но и в надгробных речах. Речи произносились на похоронах, записывались и хранились в семейном архиве. Бюсты покойных устанавливались в нишах надгробных сооружений. Восковые бюсты предков хранились в специальных нишах дома, их выносили лишь во время похоронных церемоний [20, с. 122]. Предки, таким образом, сопровождали к погребению нового покойника. Почему же погребения, точнее надгробия или погребальное ложе (часто надгробия и изображались как погребальное ложе), оказывались центром священнодействия? Во многом это можно объяснить тем, что покойник как раз и был проводником, или «медиатором», который осуществлял связь между миром живых и потусторонним миром мертвых.

Для античности характерны были надгробия, предназначенные для публичного обзора, увековечения образа и деяний умершего. Надгробные статуи стилистически не отличались от статуй живых. Особо следует отметить многочисленные и разнообразные рельефные надгробия с изображениями умерших, особенно в первые века н.э. Исследователи выделяют основные сюжеты надгробных рельефов [19, с. 116]: стоящая женщина в позе печали [19, с. 116–117; 2, с. 9–10]; стоящий мужчина в ораторской позе [19, с. 116–117; 2, с. 11–12]; сцена прощания [19, с. 118–119; 2, с. 13–14; 6, с. 94–96]; женщина, сидящая в кресле [19, с. 121–123; 2, с. 14–16; 17, с. 76–77]; всадники [3, с. 54–55; 7, с. 32; 2, с. 18, 19; 15, с. 42; 11, с. 169–180; 19, с. 126–129; 5, с. 388; 13, с. 104, 106; 17, с. 69–71], чаще всего один всадник, во многих случаях с пешим слугой, часто в сопровождении другого всадника, изображенного наполовину, иногда – два всадника лицо к лицу, в геральдической композиции, всадник и женщина, сидящая в кресле [19, с. 130; 7, с. 62–63; 4, с. 40; 10, с. 27–33; 17, с. 69]; пешие воины, со щитом и копьем или луком в горите [19, с. 132; 5, с. 384–385; 17, с. 71]; сцена «загробной трапезы» [16, с. 45–51; 18, с. 9; 14, с. 141–143; 1, с. 53; 17, с. 75–77; 8, с. 77, 79–81, 130–132; 2, с. 16–18; 50–51; 19, с. 132–135; 12, с. 25; 6, с. 103–105]. Любое изображение покойного на надгробии, помещенное в эдикулу служило выражением его героизации. Помимо надгробий на могилах некрополей Северного Причерноморья устанавливали разнообразные каменные алтари для возлияний. В первые века н.э. в погребальном инвентаре Северного Причерноморья отмечается увеличение количества сосудов, предназначавшихся для еды и питья. Исходя из смысла надписей, обнаруженных на них: «душа», «счастье», «пей, радуйся», «да будет милостив ко мне бог», сосуды явно использовались для обряда возлияния и кормления души. Выбор жидкости для подобных ритуалов был не случаен. Считается, что в подобных ритуалах использовали молоко, вино, мед, воду или их смесь [Hom.Od., X, 24; Eur. Iph., 143–147]. Важно отметить, что к жертвенной пище и питью, которые оставляли на некрополе, живые не имели права притрагиваться [Luc., Deluc., 13; Pav., V, 31]. Возлияния, как правило, совершались либо в честь героизированных умерших, либо в честь бога подземного мира.

С идеей героизации умерших предков связаны также сооружение склепов различных конструкций, которые были представлены на территории всего Северного Причерноморья в первых веках н.э. К данной проблеме в свое время обращались М. И. Ростовцев, А. С. Русяева, В. Д. Блаватский и др. Отметим, что героизация умерших предков становится массовой еще в эпоху эллинизма, но сохраняет свое положение и в первых веках н.э. Вероятнее всего, это связано с общими изменениями социально-политического и, соответственно, общественно-психологического характера. В это время для граждан резко уменьшилась возможность участвовать в политической жизни и заметно упал интерес к общественным делам. На этом фоне значительно выросла роль частной жизни. Эти изменения коснулись и религиозной жизни, в том числе и культа героизации предков. В этой связи он так же приобретает

частный характер. Вероятно, в условиях постепенного «старения» греческой цивилизации, когда исчезают стимулы (или внутренние импульсы), побуждающие людей к общественной, познавательной и иным формам жизнедеятельности, свойственной эпохам архаики и классики, увеличивается тяга к ознакомлению с загробной жизни. Ведь чаще всего потомки стремились заручиться поддержкой предков в особые моменты в своей жизни. Именно этим можно объяснить происхождение сюжетов жертвенной причастной трапезы. Жертва служила средством обмена с потусторонним миром. Это и объясняет необходимость регулярных контактов с умершими предками. Для этого же умерших призывали в селения при совершении календарных ритуалов. Следует отметить, что основную опасность представлял бродячий покойник, мертвец, который возвращался в мир в свое обличье. Он должен был оставаться в загробном мире. Ряжение, выделявшее пришельцев с того света, было необходимым для живого символического поведения, позволявшим урегулировать отношения с загробным миром [20, с. 133–134]. Сама могила считалась воротами в царство мертвых и одновременно символизировала жилище покойного. Нередко покойному придавалось положение сходное с плодом в утробе матери, что иллюстрирует идею смерти как рождения для нового существования. И уже в римское время возникает представление о двух душах, одна из которых, как римский гений или анима, продолжало загробное существование, а другая, как римский анимус, в первоначальных верованиях прекращала существование вместе с жизнью. Хотя анимус позже нашел загробное существование вместе с распространением культа манов [20, с. 141].

Политеизм религии, основу которой составляли многочисленные культы божеств и взаимосвязанных с ними мифов привели к отсутствию общепринятых канонов в почитании того или иного божества, что давало жрецам и другим служителям культов проявлять творческую инициативу в создании местных мифов, культовых имен для отдельных божеств. Расширить их функции и устраивать соответствующие сакральные зоны для их почитания, как в городах, так и за их пределами.

Таким образом, с усовершенствованием духовной культуры усиливалась и сакрализация, а соответственно усложнялся погребальный ритуал. Он стал более мифологизированным, сакрализированным, опозитизированным и гуманным, причем во всех регионах их обитания. Становятся почти общепризнанными представления связанные с бессмертием души и соответственно гораздо лучшей участи, ожидающей людей после их смерти. Античная мифология приобретает новые специфические черты, которые находят свое выражение, как правило, в образах старых богов, но наделяемых новыми сакральными функциями. Почти везде сохраняет свое значение культ Деметры и Керы-Персефоны (кроме Ольвии – падение зернового хозяйства), обеспечивающие благоденствие предкам в потустороннем мире, Диониса – спасителя и защитника не только живых, но и мертвых, Афродиты и Кибелы – покровительниц умерших. Однако при этом сохранение основных функций этих богов и распространения культа предков в первых веках происходит на основе общего усиления хтонизма и сотерических функций в сакральной жизни античного населения. Именно поэтому сохраняют свое лидирующее значение в религиозном сознании только те боги, в которых фактически слились функции покровителей плодородия, а также защитников и спасителей, как умерших предков, так и продолжающих жить их потомков.

Примечания

1. Здесь представлен перевод Д. С. Мережковского, хотя имеются и более приближенные к оригиналу переводы этого пассажа из трагедии Софокла, где хор воспекает чудеса, величие, ум и достижения человека, который, несмотря на это, все равно «лишь почует он близость Аида / Как понапрасну на помощь зовет» [например, ср.: Soph. Ant. 369-370 – С. В. Шервинского и И.С. Познякова], что, впрочем, не меняет основной смысл.

Список источников и литературы

1. Болтунова А. И. Неизданные надгробия из пантикапейского некрополя // Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института археологии. Вып. 116: Северное Причерноморье в античную эпоху. М.: Наука, 1969. С. 49–54.
2. Боспорские надгробные рельефы V в. до н. э. – III в. н. э.: каталог выставки / Гос. Эрмитаж; авт. вступ. ст. и кат. Л. И. Давыдова. Л.: Изд-во Гос. Эрмитаж, 1990. 128 с.
3. Бритова Н. Н. Образ всадника на рельефах Фракии и Боспора // Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры. Вып. 22. М.; Л., 1948. С. 53–56.
4. Гайдукевич В. Ф. Боспорская экспедиция // Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры. Вып. 27. М.; Л., 1949. С. 38–45.
5. Гайдукевич В. Ф. Боспорское царство. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. 624 с.
6. Гладкова Т. А. О некоторых мастерах боспорского рельефа I-II вв.н.э. // Вестник древней истории. 1978. № 4. С. 93–106.
7. Давыдова Л. И. Боспорские надгробные рельефы первых веков н. э. (к вопросу о сравнительной характеристике) // Проблемы развития зарубежного искусства. Вып. 9. Л., 1979. С. 29–38.
8. Давыдова Л. И. Древневосточные мотивы на боспорских надгробных рельефах I – II вв. // Древний Восток и античная цивилизация: [сб.]. Л.: Изд-во Гос. Эрмитаж, 1988 [на обл. – 1989]. С. 77–82.
9. Зубарь В. М. О семантике одной группы погребального инвентаря в некрополе Херсонеса эллинистического времени // Боспорские исследования. Вып. 5. Симферополь; Керчь, 2004. С. 160–176.
10. Иванова А. П. Керченская стела с изображением всадника и сидящей женщины // Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры. Вып. 39. М.; Л., 1951. С. 27–34.
11. Иванова Г. П. Образ вершника в боспорском надгробном рельефе // Археологічні пам'ятки УРСР. Т. 11. Киев, 1962. С. 169–180.
12. Кобылина М. М. Терракотовые статуэтки Фанагории // Терракотовые статуэтки. Ч. 4: Придонье и Таманский полуостров. М.: Наука, 1974. С. 20–29.
13. Коровина А. К. Группа надгробных стел Таманского полуострова // Сообщения ГМИИ им. Пушкина. Вып. 4. М.: ГМИИ им. А. С. Пушкина, 1968. С. 100–109.
14. Корпусова В. Н. Надгробные стелы некрополей сельских поселений Боспора // Исследования по античной археологии Северного Причерноморья: сб. науч. тр. Киев: Наукова Думка, 1980. С. 141–150.
15. Крыкин С. М. К вопросу о существовании культа конного героя на Боспоре // Проблемы идеологии и культуры в раннеклассовых формациях: межвузовский сб. науч. тр. М.: МГПИ им. В.И. Ленина. 1986. С. 30–45.
16. Кулаковский Ю. А. Две керченские катакомбы с фресками. Прил.: Христианская катакомба, открытая в 1895 г. СПб.: Тип. Гл. упр. уделов, 1896.

- [2], II, 67, [5] с., 15 л. цв. ил. (Материалы по Археологии России, изд. Императорской Археологической комиссией. Древности Южной России; № 19).
17. Марти Ю. Ю., Болтунова А. И. Неопубликованные надгробия из Керчи и окрестностей // Вестник древней истории. 1950. № 4. С. 69–77.
 18. Марченко И. Д. Археологическая деятельность государственного Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина за 40 лет // Сообщения ГМИИ им. А. С. Пушкина. Вып. 4. М.: ГМИИ им. А. С. Пушкина, 1968. С. 3–26.
 19. Матковская Т. А. Особенности композиционного решения боспорских надгробных рельефов первых веков н.э. // Население и культура Крыма в первые века н.э.: [сб.]. Киев: Наукова Думка, 1983. С. 114–136.
 20. Петрухин В. Я. Загробный мир: мифы разных народов. М.: АСТ: Астрель, 2010. 614 с.
 21. Русяева А. С. О похоронном ритуале в Ольвии Понтийской в контексте эллинской традиции // Боспорские исследования. Вып. 28. Симферополь, 2013. С. 47–72.
 22. Токарев С. А. Ранние формы религии и их развитие / под ред. Б. О. Долгих. М.: Ленанд, 1964. 622 с.

References

1. Boltunova A. I. Neizdannyye nadgrobiya iz pantikapeyskogo nekropolya [Unpublished tombstones from the panticapean necropolis]. *Kratkiye soobshcheniya o dokladakh i polevykh issledovaniyakh Instituta arkheologii. Vyp. 116: Severnoye Prichernomor'ye v antichnuyu epokhu* [Summary of the reports and field studies of the Institute of Archeology. Vol. 116: Northern Black Sea region in antiquity]. Moscow: Nauka publ, 1969. Pp. 49–54. [In Russian].
2. *Bosporskiye nadgrobnyye rel'yefy V v. do n. e. – III v. n. e.: katalog vystavki* [Bosporan tombstone reliefs of the 5th century BC. – 3rd century AD: exhibition catalog]. The State Hermitage; Author of introductory article and catalog – L. I. Davydova. Leningrad: Izd-vo Gos. Ermitazh publ, 1990. 128 p. [In Russian].
3. Britova N. N. Obraz vsadnika na rel'yefakh Frakii i Bospora [Image of a horseman on the reliefs of Thrace and Bosporus]. *Kratkiye soobshcheniya o dokladakh i polevykh issledovaniyakh Instituta istorii material'noy kul'tury* [Summary of the reports and field studies of the Institute of Archeology]. Issue 22. Moscow; Leningrad, 1948. Pp. 53–56. [In Russian].
4. Gaydukevich V. F. Bosporskaya ekspeditsiya [Bosporan expedition]. *Kratkiye soobshcheniya o dokladakh i polevykh issledovaniyakh Instituta istorii material'noy kul'tury* [Summary of the reports and field studies of the Institute of Archeology]. Issue 27. Moscow; Leningrad, 1949. Pp. 38–45. [In Russian].
5. Gaydukevich V. F. *Bosporskoye tsarstvo* [The Kingdom of Bosporus]. Moscow; Leningrad: Izd-vo AN SSSR publ, 1949. 624 p. [In Russian].
6. Gladkova T. A. O nekotorykh masterakh bosporskogo rel'yefa I – II vv. n.e. [About some masters of the Bosporan relief of the 1st-2nd centuries A.D.]. *Vestnik drevney istorii*. 1978. No. 4. Pp. 93–106. [In Russian].
7. Davydova L. I. Bosporskiye nadgrobnyye rel'yefy pervykh vekov n. e. (k voprosu o sravnitel'noy kharakteristike) [Bosporan tombstone reliefs of the first centuries AD (to the issue of a comparative characteristic)]. *Problemy razvitiya zarubezhnogo iskusstva* [Issues of the development of foreign art]. Issue 9. Leningrad, 1979. Pp. 29–38. [In Russian].
8. Davydova L. I. Drevnevostochnyye motivy na bosporskikh nadgrobnnykh rel'yefakh I – II vv. [Ancient Eastern motives on the Bosporan tombstone reliefs of the 1st-2nd centuries]. *Drevniy Vostok i antichnaya tsivilizatsiya* [Drevniy Vostok i antichnaya

- tsivilizatsiya*]. Leningrad: Izd-vo Gos. Ermitazh publ, 1988 [on the cover 1989]. Pp. 77–82. [In Russian].
9. Zubar' V. M. O semantike odnoy gruppy pogrebal'nogo inventarya v nekropole Khersonesa ellinisticheskogo vremeni [On the semantics of one group of grave tools in the necropolis of Chersonese of the Hellenistic period]. *Bosporskiye issledovaniya* [Bosporan studies]. Issue 5. Simferopol; Kerch, 2004. Pp. 160–176. [In Russian].
10. Ivanova A. P. Kerchenskaya stela s izobrazheniyem vsadnika i sidyashchey zhenshchiny [Kerch stele depicting a horseman and a seated woman]. *Kratkiye soobshcheniya o dokladakh i polevykh issledovaniyakh Instituta istorii material'noy kul'tury* [Summary of the reports and field studies of the Institute of Archeology]. Issue 39. Moscow; Leningrad, 1951. Pp. 27–34. [In Russian].
11. Ivanova G. P. Obraz vershnika v bospors'komu nadgrobnomu rel'yefi [The image of the top in the Bosporan tombstone relief]. *Arkheologichni pam'yatki URSS* [Archaeological memorials of the USSR]. Vol. 11. Kiev, 1962. Pp. 169–180. [In Russian].
12. Kobylina M. M. Terrakotovyye statuetki Fanagorii [Terracotta figurines of Fanagoria]. *Terrakotovyye statuetki. Ch. 4: Pridon'ye i Tamanskiy poluostrov* [Terracotta figurines. Part 4: Pridonye and Taman Peninsula]. Moscow: Nauka publ, 1974. Pp. 20–29. [In Russian].
13. Korovina A. K. Gruppy nadgrobnyykh stel Tamanskogo poluostrova [A group of gravestone steles on the Taman Peninsula]. *Soobshcheniya GMII im. A.S. Pushkina*. Issue 4. Moscow: GMII im. A. S. Pushkina publ, 1968. Pp. 100–109. [In Russian].
14. Korpusova V. N. Nadgrobnyye stely nekropoley sel'skikh poseleniy Bospora [Tombstones of the cemeteries of rural settlements of the Bosporus] *Issledovaniya po antichnoy arkheologii Severnogo Prichernomor'ya* [Research on the ancient archeology of the Northern black sea region]. Kiev: Naukova Dumka publ, 1980. Pp. 141–150. [In Russian].
15. Krykin S. M. K voprosu o sushchestvovanii kul'ta konnogo geroya na Bospore [On the question of the existence of the cult of the equestrian hero on the Bosporus]. *Problemy ideologii i kul'tury v ranneklassovykh formatsiyakh* [Ideology and culture in the early class formations]. Moscow: MGPI im V. I. Lenina publ. 1986. Pp. 30–45. [In Russian].
16. Kulakovskiy Yu. A. *Dve kerchenskiye katakomby s freskami* [Two Kerch catacombs with frescoes]. Pril.: Khristianskaya katakomba, otkrytaya v 1895 g. [Suppl.: Christian catacomb, opened in 1895]. Saint Petersburg: Typ. Gl. upr. udelov publ, 1896. [2], II, 67, [5] p., 15 sheets. Colored ill. (Materials on the Archeology of Russia, published by the Imperial Archaeological Commission. Antiquities of Southern Russia; No. 19). [In Russian].
17. Marti Yu. Yu., Boltunova A. I. Neopublikovannyye nadgrobiya iz Kerchi i okrestnostey [Unpublished tombstones from Kerch and the surrounding area]. *Vestnik drevney istorii*. 1950. No. 4. Pp. 69–77. [In Russian].
18. Marchenko I. D. Arkheologicheskaya deyatel'nost' gosudarstvennogo Muzeya izobrazitel'nykh iskusstv im. A.S. Pushkina za 40 let [Archaeological activity of the State Museum of Fine Arts for 40 years]. *Soobshcheniya GMII im. A. S. Pushkina*. Issue 4. Moscow: GMII im. A. S. Pushkina publ, 1968. Pp. 3–26. [In Russian].
19. Matkovskaya T. A. Osobennosti kompozitsionnogo resheniya bosporskikh nadgrobnyykh rel'yefov pervykh vekov n.e. [Features of the compositional solution of the Bosporan tombstone reliefs of the first centuries AD]. *Naseleniye i kul'tura Kryma v pervyye veka n.e.* [Population and culture of Crimea in the first centuries AD]. Kiev: Naukova Dumka publ, 1983. Pp. 114–136. [In Russian].
20. Petrukhin V. Ya. *Zagrobnyy mir: mify raznykh narodov* [Underworld: Myths of Different Peoples]. Moscow: AST: Astrel publ, 2010. 614 p. [In Russian].

21. Rusyaeva A. S. O pokhoronnom rituale v Ol'vii Pontiyskoy v kontekste ellinskoy traditsii [On the funeral ritual in Pontic Olbia in the context of the Hellenic tradition]. *Bosporskiye issledovaniya*. Issue 28. Simferopol, 2013. Pp. 47–72. [In Russian].
22. Tokarev S. A. *Early forms of religion and development [Ranniye formy religii i ikh razvitiye]*. ed. by B.O. Dolgikh. Moscow: Lenand publ, 1964. 622 p. [In Russian].

Сведения об авторе

Шушунова Елена Валериевна –
ассистент кафедры истории и
археологии ФГБОУ ВО «Тульский
государственный педагогический
университет им. Л. Н. Толстого»
(e-mail: schuschunova.elena@yandex.ru).

Information about the Author

Shushunova Elena Valeryevna,
assistant of the Department of History and
Archaeology of the Tula State Lev Tolstoy
Pedagogical University
(e-mail: schuschunova.elena@yandex.ru).

СВЕНЕЛЬД – ОСНОВАТЕЛЬ ДИНАСТИИ РЮРИКОВИЧЕЙ? К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА

О. А. Матвейчев

*Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики
(г. Москва, Россия)*

Аннотация. Статья посвящена вопросу об истоках российской государственности. Автор отвергает возможность произведения правящей на Руси в 862 – 1610 гг. династии от Рюрика и ставит под сомнение традиционную датировку княжения первых русских князей, в частности, Игоря (есть немало оснований предполагать, что он занял киевский престол лишь в районе 942 – 943 гг.). Отмечая многочисленные нестыковки в записях хронистов, автор утверждает, что их проблему можно решить, если принять гипотезу о двух последовательно правящих князьях Олегах – Олеге Вещем и его сыне Олеге Втором. Опопознанный в Хельгу из Кембриджского документа, Олег Второй мог быть отцом Ольги, бывшей замужем за Игорем и родившей Святослава, который и стал продолжателем династии Олегов, но по матери. Отцом же Игоря, и в этом состоит основной посыл статьи, вероятно, являлся влиятельнейший воевода Свенельд, бывший диархом и при Игоре, и при Святославе, и при Ярополке. Этот факт тщательно скрывался позднейшими летописцами как «позорная тайна» правящей династии, которая лишь по историческому недоразумению называется «Рюриковичами».

Ключевые слова: история Древней Руси, Рюриковичи, Олег Вещий, Игорь Рюрикович, княгиня Ольга, Свенельд, Кембриджский документ.

SVENELD IS THE FOUNDER OF THE RURIK DYNASTY? TO THE QUESTION

O. A. Matveychev

*National Research University Higher School of Economics
(Moscow, Russia)*

Abstract. The article regards the source of Russian statehood. The author rejects the possibility of the descent of the dynasty that ruled in Russia in 862 – 1610 A.D from Rurik and casts doubt on the traditional dating of the reign of the first Russian princes, in particular, Igor (there are many reasons to believe that he took the throne of Kiev only around 942 – 943 A.D). Noting the numerous inconsistencies in the chronicles, the author claims that this problem can be solved if we accept the hypothesis of two successively ruling princes: Oleg the Seer and his son Oleg the Second. Identified as Helgu from the Khazar Correspondence, Oleg II could be the father of Olga who was Igor's wife. She gave birth to Svyatoslav who became the successor to the Oleg dynasty, but on his mother's side. Igor's father, and this is the main message of the article, was probably the influential warrior Sveneld, who was a diarch under Igor, Svyatoslav, and Yaropolk. Later chroniclers carefully hid this fact as the "shameful secret" of the ruling dynasty, which is called "Rurikovich" only due to a historical misunderstanding.

Key words: history of Kievan Rus', Rurik dynasty, Oleg of Novgorod, Igor of Kiev, Olga of Kiev, Sveneld, Schechter Letter.

Фраза «Династия Рюриковичей ведет начало от Рюрика» выглядит трюизмом. Но все ли так просто? И имеет ли вообще Рюрик отношение к великокняжескому роду, представленному такими славными именами, как Владимир Святой, Ярослав Мудрый, Дмитрий Донской, Иван Грозный?

Главным источником по событиям IX – X вв. в Древней Руси считается «Повесть временных лет»; именно здесь зафиксирована знаменитая легенда о призвании варягов: «Рѣша русь, чюдѣ, словѣни, и кривичи и вси: “Земля наша велика и обилна, а наряда в ней нѣтъ. Да поидѣте княжить и володѣти нами”. И избѣрашася з братья с роды своими, пояша по собѣ всю русь, и придоша; старѣйший, Рюрикъ, сѣде Новѣгородѣ, а другой, Синеусъ, на Бѣлѣ-озерѣ, а третий Изборьстѣ, Труворѣ. И от тѣхъ варягъ прозвася Руская земля» [13, с. 13].

Здесь же (под гг. 879 и 882) Игорь называется сыном Рюрика.

Но надежен ли этот источник? На протяжении как минимум двух последних столетий он подвергался критике за противоречивость и разногласие с другими историческими источниками со стороны десятков, сотен историков и филологов, в т.ч. ученых первой величины, как, например, А. А. Шахматов [22]. Нужно согласиться, что критика ПВЛ весьма резонна. В строгом смысле слова этот текст даже не является летописью.

Во-первых, это не хроника, где бы историк записывал год за годом то, что видел. Скорее, это своего рода дайджест – собрание фрагментов и переводов византийских источников (например, хроник Георгия Амартола, Иоанна Малалы и др.), свод мифов и сказок, некритически подобранных противоречивых легенд.

Во-вторых, «Повесть временных лет» создавалась, как минимум, тремя авторами (Нестор (до 1113 г.), Сильвестр (до 1116 г.) и Василий (1118-1119 гг.), а возможно, и большим количеством переписчиков. Эти авторы исправляли друг друга, вычеркивали «ненужное», дополняли от себя тем, что им казалось важным или что требовал политический или религиозный заказ. ПВЛ известна в девяти изводах (Лаврентьевский, Радзивилловский, Московско-Академический, утраченный Троицкий, Ипатьевский, Хлебниковский, Погодинский, Краковский и Ермолаевский), во многом противоречащих друг другу [22].

В-третьих, время, когда писалась ПВЛ (XII в.), отстоит от описанных в ней событий на 200 – 300 лет. И это в эпоху, когда не было ни библиотек, ни университетов, ни, тем более, интернета! Многое ли могло быть передано в подобных обстоятельствах со стопроцентной достоверностью?

В-четвертых, очевидно, что для христианских историков, авторов ПВЛ, вся история до принятия христианства на Руси была не важна, и они были склонны изображать ее «темными веками» и делать все для ее забвения. Не меньше, чем христианские хронисты и религиозные деятели, в том, чтобы стереть всякую память о прежних веках и предшествующих истинных правителях, были заинтересованы меняющиеся династии правителей, имеющие возможность использовать для этого и более радикальные методы, чем просто тенденциозное редактирование старых хроник.

Таким образом, история с воцарением Рюрика предстает в ином свете. Однако сомнений в том, что в основе славной русской династии стоял именно этот знатный варяг, немало и без того.

Прежде всего, и этого, пожалуй, в принципе, достаточно: первый князь с именем Рюрик появляется среди всех многочисленных русских князей с их большими семьями только в середине XI в. Это Рюрик Ростиславович – аж правнук Ярослава Мудрого (!), а всего в домонгольский период таковых было еще два в XII в. (еще один Рюрик Ростиславович и Рюрик Ольгович). Если вспомнить сколько за это время было разных Олегов, Владимиров, Ярославов, Святославов, Игорей и проч., то становится очевидным, что великокняжеский род в тот момент никакими «рюриковичами» себя не считал и память о своем «родоначальнике» не хранил. Между тем, в традиционном

обществе людям свойственно знать свои генеалогии на несколько колен назад. Если мы говорим про князей, то их родословные – это даже не семь колен, а значительно больше! Чем древнее род – тем знатнее!

В средневековье, и особенно у скандинавов, с которыми наши князья имели многочисленные династические браки, была традиция называть детей, особенно старших сыновей, в честь отцов и дедов. Здесь мы видим полное нарушение этой традиции.

Точнее, никакого нарушения нет – о Рюрике наши князья просто не знали, легенды о нем циркулируют только в Новгороде, и лишь в XI – XII вв. они попадают в Киев, где пишется «Повесть временных лет». В Новгороде же легенды имеют хождение просто потому, что новгородцы тесно контактируют по торговым и другим делам со скандинавами и балтийскими славянами, для которых Рюрик был персонажем из их относительно недавнего прошлого (в историчности Рюрика Датского (Ютландского), маркграфа Фризского сомневаться не приходится; дискуссионным вопросом остается разве что его возможное родство по матери с мекленбургскими и померанскими славянами и связь с русским Севером). Симптоматично, что именно один из новгородских князей первым и назвал одного из своих сыновей Рюриком – в конце XI в.

От кого же вели свой род русские князья, если Рюрика они не знали? Не могли же они, в средневековье, где вся знать кичилась древними родословными, выглядеть как безродная голытьба?

Ответ известен, и он есть в «Слове о Законе и Благодати» митрополита Илариона, написанном в середине XI в. Это панегирик князьям Владимиру Красное Солнышко и Ярославу Мудрому, где упоминается и их происхождение. Династия возводится к Игорю Старому (Старому – не в смысле «старик», а в смысле «старинному»): «Похвалимъ же и мы, по силѣ нашей, малыими похвалами великаа и дивнаа сътворышааго нашего учителя и наставника, великааго кагана нашеа земли Володимера, вѣнука старааго Игоря, сына же славнааго Святослава, иже въ своа лѣта владычествующе, мужьствомъ же и храборьствомъ прослуша въ странахъ многих, и побѣдами и крѣпостию поминаются нынѣ и словутъ» [17, с. 42].

Легенда о том, что князь Игорь – это «сын Рюрика» была митрополиту Илариону неизвестна, ибо возникла на сто лет позже, иначе он ее бы упомянул. Ведь не мог он не знать, например, про Олега Вещего, однако, отцом Игоря и предком Владимира и Ярослава его не называет – значит, прекрасно осведомлен, что он не отец. Тогда от кого Игорь? От Рюрика? А Олег – регент? Скажи это, что тут скрывать! Не говорит, потому что эта версия, повторим, возникает позже, и Илариону она неведома. Илариону известно только то, что Владимир и Ярослав – потомки Игоря. Олег не был его предком, а вот кто был его предком – остается вопросом. Иларион не знает этого? Не такой уж большой исторический срок прошел.

Просто этого предка по некоторым причинам нельзя называть.

Давайте приглядимся к биографии Игоря. Предка всех русских князей!

Никаких данных, кроме самой «Повести временных лет», у нас нет (та же Новгородская I летопись младшего извода во многом базируется именно на ПВЛ), а ее версия, как мы видим, сомнительна. Позже вопросов возникнет еще больше. Но давайте рассмотрим эту версию. Олег Вещий взял Киев в 882 г., якобы с младенцем Игорем на руках, коего представлял как сына Рюрика: «и рече Олегъ Асколду и Дирови: “Вы нѣста князя, ни рода княжа, но азъ есмь роду княжа”, и вынесоша Игоря: “А се есть сынъ Рюриковъ”» [13, с. 14]. Рюрик исчез с исторической сцены в 873 г., но теперь нам придется удлинить его жизнь, минимум до 879 – 880 г. Якобы – это время он жил на Севере и успел родить Игоря.

Если Игорь родился примерно в 879 г., погиб в 945 г., после восстания древлян, то ему должно было быть на момент смерти 65 лет. Серьезный возраст для серьезного князя, который должен был оставить после себя множество славных дел. Однако

никаких славных дел мы не видим ни в каких хрониках современников. Даже сама ПВЛ скупа донельзя. Она говорит, что Игорь начал править в 913 г. То есть это объясняет, что половину жизни он не мог вершить славные дела. Хорошо, допустим, объясняет. Но возникает новый вопрос: а почему он начинает править только в 34 года, если Олег был при нем регентом и должен был передать ему власть в совершеннолетнем возрасте или, как минимум, сделать соправителем? Если Игорь – князь и сын Рюрика, то должно было быть так, но этого нет.

Между тем, Олег в 911 г. принимался византийцами как полномочный князь русов (архонт), а не какой-то там регент или представитель княжеского рода. Это понятно, прежде всего, из самой буквы договора, содержащегося в ПВЛ (греческий документ не сохранился [3, с. 5]). «В тексте договора, – пишет А. Л. Никитин, – он представлен с титулом “светлости”, что могло иметь место только в том случае, если константинопольский двор был абсолютно уверен в правомочности Олега претендовать на графское или княжеское достоинство» [10, с. 171]. Столь важные детали родословной византийцы уточняли наверняка, ибо в вопросах церемоний и подписания договоров их басилевсом какого-либо неравенства сторон допустить было нельзя. С русской стороны договор составлялся от лица одного лишь Олега как великого князя; среди людей, указанных в договоре и представлявших русскую сторону, есть кто угодно (Карлы, Инегелд, Фарлаф, Веремуд, Рулав, Гуды, Руалд, Карн, Фрелав, Руар, Актеву, Труан, Лидул, Фост, Стемид), но нет Игоря.

Собственно, поэтому-то и стали писать, что Игорь стал править после 913 г.

Но опять неувязка: почему анонимный автор «Письма хазарского еврея»¹, описывая события конца 930-х – начала 940-х гг., называет правителем Руси Олега?..

Есть основания предположить, что Игорь пришел к власти вообще только в районе 942 – 943 гг. (А. А. Шахматов называет чуть более раннюю дату: 940 г. [21, с. XXXIII], а французский византолог К. Цукерман склоняется к датировке этого события 941-м годом [20]).

О подлинном статусе Игоря может говорить и определенное «нестроение» в государстве, а именно война Игоря с древлянами, в результате которой он и погиб в 945 г. и которая объясняется хронистами некоей его жадностью до дани. Если же предположить, что древляне отказались подчиняться князю-узурпатору, князю, которого они считали незаконным, ненастоящим, то все встает на свои места. Обычно восстания в государствах и возникают в случае, если прерывается правящая династия.

Итак, Игорь, похоже, правил всего два-три года и то не совсем законно. И уж теперь точно нельзя предположить, что он был сыном Рюрика. И не только потому, что он не был признан древлянами законным правителем, но и потому что получил власть даже не в 34 года, а в 64 года!

И еще одно соображение. После смерти он оставил малолетнего сына Святослава, и если предполагать, что Игорь – сын Рюрика, и родился он в конце 870-х, то Святослава он должен был бы зачать почти в 65 лет, а его жена Ольга – родить его в 50 лет, если верить, что их брак с Игорем был заключен в 903 г. А до этого детей у них не было... У молодых – не было, а в старости появился...

И это еще не все нестыковки. У нас получается, что и князь Олег, если он оставил власть Игорю в районе 943 г., погибнув в Бердаа, должен был быть к тому времени, минимум, 80 – 90-летним старцем. Ибо в 882 г. он брал Киев не подростком, а серьезным мужем.

Все нестыковки исчезают, если принять гипотезу о двух князьях Олегах, отстаиваемую рядом историков (М. Д. Присёлков, Ю. Д. Бруцкус, Н. Я. Половой, М. И. Артамонов и др.).

Первый Олег широко известен. Это Олег Вещий, который пришел с Севера, взял Киев в 882 г., объявив его русским городом, совершил поход на Константинополь, добился заключения знаменитого торгового договора 911 г. и, по легенде, умер от укуса змеи.

Но через несколько десятков лет после смерти Вещего происходят события, в которых также участвует некий Олег...

В Кембриджском документе сообщается о захвате приблизительно в 939 г. подстрекаемым Византией «царем Руси» Хельгу (Олегом) хазарского города Самкерц (Тмутаракань). Хазарский полководец Песах отбил у русов город, после чего напал на византийские владения в Крыму, дойдя до самого Херсонеса.

Согласно хазарскому еврею, нанеся поражение Олегу, Песах послал его в поход против византийцев. «И пошел тот против воли и воевал против Кустантины на море четыре месяца. И пали там богатыри его, потому что македоняне осилили (его) огнем. И бежал он, и постыдился вернуться в свою страну, а пошел морем в Персию, и пал там он и весь стан его. Тогда стали Русы подчинены власти казар» [7, с. 120].

Оставив на совести автора письма последнее утверждение, заметим, что набег Олега на столицу ромеев по описанию совпадает с неудачным походом Игоря в 941 г. На основании этого ряд историков предполагают, что это была все-таки одна и та же военная кампания, закончившаяся возвращением русских войск в Киев. И уже позднее был организован новый поход – в Закавказье, «на Персию».

По словам арабского писателя Ибн Мискавейха, это случилось в 943/944 г. Главной целью стал богатый город Бердаа (арабское название Барды, бывшей столицы Кавказской Албании) на реке Куре². В отличие от предыдущих каспийских кампаний (в т.ч. 913 г.), на этот раз русы решили не довольствоваться лишь грабежом, но остаться в захваченной мусульманской стране, установив в ней свои порядки. По свидетельству Ибн Мискавейха, русские говорили жителям: «Нет между нами и вами разногласия в вере. Единственное, чего мы желаем, – это власти. На нас лежит обязанность хорошо относиться к вам, а на вас – хорошо повиноваться нам» [23, с. 65].

Нескрываемое намерение создать рядом с Хазарией независимое русское княжество как плацдарм для дальнейших завоеваний встревожило хазарские верхи. Если раньше они даже содействовали идущим на Персию руссам (это ослабляло их врагов-мусульман), то с 943 по 960 г. каган Иосиф перестал пропускать русские вооруженные силы на Каспий, что, по предположению Н. Я. Полового, явилось «тем поводом, которым воспользовался Святослав, чтобы уничтожить каганат» [15, с. 103].

Из Бердаа русское войско ушло весной-летом 944 г. [14, с. 144], ослабленное эпидемией и потеряв своего вождя Олега. Именно в это время армия Игоря, совершавшая поход на Византию, была встречена у берегов Дуная посланниками императора. Они принесли богатые дары и предложили мир. Военно-торговый договор был подписан летом – осенью 944 г., незадолго до свержения императора Романа I Лакапина, представлявшего с сыновьями по договору византийскую сторону (датирование документа 945 годом, основывающееся на ПВЛ, ошибочно).

Кто же такой Хельгу (Олег), называемый хазарским евреем «царем Руси»? Может показаться, что это двойник Игоря – он тоже князь Руси, тоже ходил на Константинополь, причем в то же время и с тем же исходом, вплоть до подробностей о сожжении его флота «греческим огнем». По мнению Ю. Д. Бруцкуса, для автора письма имя малодейственного и невоинственного князя Игоря могло быть заслонено именем его энергичной супруги Ольги либо же именем его славного предшественника Олега. Кроме того, как считает Бруцкус, можно предположить, что Игорь – это и есть Олег, но другой: «Дело в том, что греки относились с большим пренебрежением к именам варваров и очень редко их упоминали. Аскольд и Олег, напр., ими вовсе не упоминаются, а Игорь очень редко, в форме Ингор. У Лиудиранда встречаем уже чисто скандинавскую форму “Inger”, что обозначает – младший. Естественно возникает мысль, что народно-славянскому прозвищу Игорь или Ингорь соответствовало по-скандинавски полное имя Helgi Inger, т.е. Гельги младший, в противовес его предшественнику Гельги старшему, или по-славянски Олегу Вещему» [4, с. 30].

Еще одну версию приводит Б. Г. Горянов: «некоторые ученые отождествляют Helgou анонима с князем Игорем, думая, что ... имя Helgi (по-шведски – святой) было эпитетом всех князей на Руси, и что аноним пользуется этим эпитетом Игоря, не упоминая его имени» [6, с. 266].

М. И. Артамонов подвергает все эти объяснения беспощадной критике, напоминая, что Хельгу, по сообщению еврейского анонима, погиб в Персии, в то время как Игорь, и это хорошо известно из русских и византийских источников, был убит древлянами, а в Закавказье никогда не был. То есть, очевидно, что Игорь и Хельгу – два разных человека. В свою очередь Артамонов выдвигает собственную версию, основанную на сообщении Новгородской летописи о воеводе Игоря Олеге («И бысть у него [Игоря] воевода, именемъ Олегъ, муж мудръ и храборъ» [11, с. 107]): «Хотя этот Олег отождествляется с Олегом – великим князем киевским, не исключена возможность, что в легендарном образе Олега Вещего совместились черты не одного, а двух одноименных персонажей. Можно допустить, что вторым из них и был воевода Хельгу-Олег, приобретший в Хазарии настолько большую известность, что полностью заслонил своего современника – великого князя киевского Игоря. Вместе с тем нет решительно никаких оснований считать Хельгу князем, независимым от Игоря, представляющим какую-то особую Русь, отличавшуюся от Руси киевской и обитавшую где-то, не то в Крыму, не то на Таманском полуострове, так называемую Черноморскую Русь³. ... Ясно, что Хельгу предводитель не какой-то особой руси, а все той же руси киевской, которая в это время уже являлась решающей силой Восточной Европы» [2, с. 377–378]⁴.

Однако кроме Новгородской летописи и еврейского анонима о «полководце Олеге» никто не пишет. Вместе с тем, известно, что воеводой при летописном Игоре был Свенельд, а вовсе не Олег. Отсекая «бритвой Оккама» множасьщиеся гипотезы, проблему «двоеолежия» можно решить, предположив, что «Олег Второй» был не Игорем и не воеводой при Игоре, а самым настоящим великим князем – вероятно, сыном Олега Вещего, названным в честь отца.

Из-за сходности имени перепутанный поздними историками со своим отцом, Олег Второй правит в Киеве примерно до 940 г. В 941 г. он совершает неудачный поход на Константинополь, затем уходит в Закавказье и там гибнет в районе 943 г.

Тем временем в Киеве к власти приходит Игорь, который, по данным византийцев, принимал участие в неудачном походе 941 г. В 944 г. он подписывает договор с Византией, а в следующем году идет на древлян, где и находит свою погибель. На престоле остается его жена Ольга, с малолетним Святославом.

Таким образом, Игорь не мог быть сыном Рюрика, потому что власть даже от Олега Вещего не наследовал, а коли так, то, скорее всего, он родился не в районе 878 г., а гораздо позже, и к 945 г. был, скорее всего, 20 – 25-летним молодым человеком, успевшим жениться на Ольге и родить первого сына – Святослава.

Очевидно, летописец XII в. нарочно удревнял Игоря, чтобы связать его непосредственно с Рюриком, сделать Игоря его сыном, и, таким образом, «нарисовать» некую единую династию. Почему опять же, летописцам XII в. было не сделать Игоря просто сыном Олега, хоть Вещего, хоть Второго, а надо было тянуть его непременно к Рюрику? По всей видимости, на тот момент было четко, и самое главное, широко, по крайней мере, среди боярства, известно, что Игорь сыном Олега не являлся. Во всяком случае, митрополиту Илариону было очевидно, что существует какой-то обрыв правящей династии, или какой-то сбой – сбой, о котором приятно умалчивать...

Какое предположение можно сделать из всех этих манипуляций летописца и умолчаний поздних современников? Здесь остается опираться не на отсутствующие документы, а на здравый смысл.

Если Игорь – не сын Олега или Рюрика, и при этом он все-таки на короткое время становится князем, и при этом он же – муж Ольги, то, скорее всего, свое место он занимает именно благодаря этой женитьбе.

То есть, как раз Ольга вполне могла быть дочерью Олега Второго и внучкой Олега Вещего. Собственно, поэтому и имя ей – Ольга. Кстати, ее сын Святослав – это славянская калька с имени Олег, которое выглядит скандинавским. Олег переводится как «святой» (ср. англ. holy). **Святослав – это продолжатель династии Олегов, но по матери, Ольге, а вот отцом был Игорь, это никто не оспаривает.**

Откуда же мог взяться этот Игорь? Очевидно, если ему отказались подчиняться древляне, он не был княжеского рода, но и простолюдином он быть не мог, скорее всего, сын какого-то дружинника, боярина. Причем, не просто дружинника и боярина, а весьма авторитетного. Представим, что законный князь (Олег Второй) внезапно погиб, не оставив мужского потомства – наверняка возникнет много претендентов на его место. Для того, чтобы усадить на княжий трон своего сына и его жену – мать своего внука, усадить за княжий стол женщину, пусть даже и в виде регентши, нужно иметь огромный авторитет в княжьем дружине! Времена были патриархальные и военные...

Слава Богу, долго такого дружинника искать не надо, не надо перебирать разные варианты и потом вымучено доказывать, что скорее всего, мог быть такой-то и такой-то... Нет. Прямо на поверхности находится многолетний главный воевода княжеской дружины. Именно он впоследствии воспитывает князя Святослава в Старой Ладогe (откуда вел происхождение Олег Вещий), и именно он сопровождает Святослава в походах и потом все время состоит при княгине Ольге и обеспечивает повиновение войска ей. Этот воевода – Свенельд.

Какая мать доверит своего единственного сына кому попало? А вот своему свекру – запросто! Более того, свекру, который своим авторитетом (ибо был он старший над войском) сумел добиться, чтобы после смерти Олега и отсутствия прямого наследника, стол перешел к Игорю – его сыну и Ольгиному мужу – и к ней самой, а позже, после смерти Игоря, обеспечить возможность правления Ольги при малолетнем сыне.

В русской истории X в. Свенельд – фигура весьма примечательная; по своему влиянию он не уступает князьям, при которых служил воеводой, включая Игоря, Святослава и Ярополка. Договор Руси с Византией 971 г. был заключен «при Святославѣ, велицѣмъ князи русѣмъ, и при Свѣналѣдѣ» [13, с. 34], что свидетельствует о чрезвычайно высоком статусе княжеского приближенного, фактически, его соправителя, ведь при заключении международных договоров он выступает «наравне с князем» [1, с. 33]. На «особое положение Свенельда» при русских князьях обращает внимание и профессор И. Я. Фроянов [19, с. 353].

Об исключительной влиятельности Свенельда вплоть до преклонного возраста может говорить и тот факт, что в 977 г. он фактически принудил Ярополка пойти войной на собственного брата – Олега Древлянского, убившего сына Свенельда Люта: «и молвяше всегда Ярополку Свѣналѣдъ: “Пойди на брать свой и прими волость его”, хотя отмстити сыну своему» [13, с. 35]. Представьте эту ситуацию: вы – великий князь, к вам приходит престарелый воевода, у которого нет уже ни прежних сил, ни той власти над войском, что была в зрелые годы. И он говорит: иди убей родного брата. Такое возможно только в ситуации, если этот воевода приходится вам прадедом, могущественным соправителем, который вас нянчил, воспитывал, тем более, в отсутствие отца и деда, рано погибших. После убийства Олега оба раскаиваются. ««Вижь, сего ты еси хотѣлъ!», – бросает прадеду Ярополк [13, с. 35]. Ситуация приводит обоих в чувство, и, видимо, сразу после этого Свенельд уходит на покой...

Свенельд обладал не только исключительной властью, но и богатством, по меньшей мере, соизмеримым с княжеским. Источник его хорошо известен: он был

удостоен леном. В Новгородской Первой летописи (запись под 922 г.) говорится о передаче Игорем Свенельду права сбора дани с племенных союзов древлян и уличей (причем, последних Свенельду сперва еще нужно было завоевать – власти великого князя они на ту пору еще не признали): «Игорь же сѣдѣше в Киевѣ княжа, и воюя на Древляны и на Угличѣ. И бѣ у него воевода, именемъ Свѣнделдѣ; и примучи Угличѣ, възложи на ня дань, и вдасть Свѣнделду. И не вдадѣшется единѣ град, именемъ Пересѣченѣ; и сѣде около его три лѣта, и едва взя. И бѣша сѣдѣще Угличѣ А по Днѣпру вѣнизѣ, и посемѣ приидоша межи Бѣгѣ и Днѣстрѣ, и сѣдоша тамо. И дасть жеданѣ деревъскую Свѣнделду, и имаша по чернѣ кунѣ от дыма. И рѣша дружина Игоревѣ: “се далѣ еси единому мужевѣ много”» [11, с. 109].

Заметим, что речь здесь идет не о государственном фиске: дань собиралась Свенельдом не для передачи ее князю, а для личных нужд! За счет полюдья он и его воины (у Свенельда – собственная дружина (!) и собственные вассалы: отроки) настолько обогатились, что вызвали зависть и недовольство со стороны княжеских дружинников: «рекоша дружина Игоревѣ: «Отроки Свѣнльжи изодѣлися сѣть оружьемъ и порты, а мы нази. Пойди, княже, с нами в дань, да и ты добудеши и мы» [13, с. 26]. Итог визита Игоря к древлянам за дополнительной данью известен. По сообщению Льва Диакона «он был взят ими в плен, привязан к стволам деревьев и разорван надвое» (Historia VI 10) [8, с. 57].

Карательный поход на Искоростень возглавил сам Свенельд; утопив восстание в крови, он таким образом отомстил за гибель сына – Игоря.

Однако, несмотря на всю значимость Свенельда, его имя не было включено в весьма представительный перечень русской знати в договоре 944 г. между Русью и Византией.

Почему? На этот счет существует не одна версия. По словам Г. В. Вернадского, например, «очевидное заключение сводится к тому, что во время подписания договора он не считался русским (то есть киевским русским или тмутараканским русским). Предположительно он был одним из нанятых варягов; более точно – командиром варяжского отряда, нанятого Игорем» [5, с. 46].

Не удовлетворяясь подобным объяснением, Н. Я. Половой делает предположение, что Свенельда во время заключения договора просто не было в Киеве. При этом к осени 944 г. он и его дружина уже настолько богаты, а их одежда и оружие настолько роскошны, что это даже вызывает зависть и ропот со стороны воинов Игоря. И у них не только дорогая одежда и оружие: в «Архангелогородском летописце», дающем более полные сведения относительно добычи Свенельда, сообщается также о конях, доспехах и монетах: «Рекоша боляре Игоревѣ: “Княже, отроки Свинѣделовы изодѣлися сѣть коньми, и оружии, и всяким доспехом, и порты полны, а мы нази, неконны и неоружны”» [18, с. 58]. По мнению Полового, Свенельд никак не смог бы оснаститься всем этим у древлян, бедного земледельческого племени; не мог он и купить все это за полученную с древлян дань и в Византии, с которой Русь с 941 по 944 г. находилась фактически в состоянии войны. По мнению Полового, Свенельд мог привезти все это лишь из похода на Бердаа, в котором он выступал в качестве вождя [15, с. 105].

Дополнительным аргументом в пользу этой версии Половой считает само имя русского князя, захватившего Бердаа, как оно передано у Низами⁵: Кинтал. Имя Кинтал (Квинтал) фонетически родственно (учитывая частые замены С и К, а так же В и Ф в индо-европейских языках) имени Сфенкел – так звался военачальник росов из «Истории» Льва Дьякона, «третий по достоинству после Сфендослава⁶» (VIII, 5), в свою очередь опознаваемый как Свенельд⁷.

Развивая «вполне вероятное» предположение Полового относительно источника богатства дружины Свенельда, М. И. Артамонов напоминает, что Свенельд имел варяжское происхождение и, скорее всего, был наемником на службе у киевского князя, отряженный им в зарубежный поход в составе отряда Хельгу. «Он

мог быть командиром какого-то подразделения этого войска, даже помощником Хельгу, который в порядке старшинства становится на место выбывшего вождя, мог выделиться среди простых воинов личной храбростью и умом и стать во главе войска по избранию. Как бы то ни было, после смерти Хельгу Свенельд возглавил оставшееся без предводителя войска и вместе с ним прибыл в Киев» [1, с. 33]. Многие ветераны закавказской операции, по мнению Артамонова, остались в Киеве со Свенельдом в качестве его дружины, представляющей собой внушительную силу, на которую могла опереться княгиня Ольга в борьбе как с внешними, так и с внутренними врагами.

Можно заметить, что Артамонов сознательно не учитывает летописные сообщения о том, что Свенельд обладал исключительной влиятельностью еще до рейдов на Константинополь и в Закавказье и уже имел лен, являясь, по сути, едва ли не первым на Руси феодалом в собственном смысле слова. Свенельд приобрел статус, почти равный княжескому, не по возвращению в Киев из Бердаа, но гораздо раньше, может быть, на целых два десятилетия.

Однако, потеряв свата во время персидского похода, Свенельд, вероятнее всего, и в самом деле упрочил свое положение, вернувшись в столицу, поскольку к власти в Киеве пришел его собственный сын – Игорь, муж Ольги, дочери погибшего Олега Второго.

Если наше предположение о родстве Свенельда и Игоря верно, то становится понятна «позорная тайна» первых русских князей. Тайна, о которой стыдливо умолчал митрополит Илларион, остановившись в генеалогии Владимира и Ярослава на Игоре, и тайна, которую пытались потом в «Повести временных лет» заштопать хронисты, срочно выводя Игоря из благородного княжеского рода Рюрика. «Позорная тайна» стояла в том, что Игорь был сыном Свенельда, всего лишь воеводы, но не князя, а это для средневековья очень некрасивая ситуация... Само имя Свенельд в хрониках и сагах скандинавов не встречается, однако, оно легко переводимо с германского и означает «старый/старший швед», а значит является, скорее военным прозвищем наемника, очевидно, шведского происхождения. И сегодня фамилия Свенсон является самой распространённой в Швеции....

Чтобы скрыть этот факт, авторам «Повести временных лет» пришлось совершить целый ряд подлогов⁸ (которые историки потом все равно заметили в виде внутренних противоречий или противоречий другим историческим данным).

Во-первых, пришлось найти Рюрика как более-менее подходящего исторического персонажа с более-менее приличной родословной и в то же время не настолько известного, чтобы все могли легко опровергнуть это родословие.

Во-вторых, Игоря пришлось возводить к Рюрику, а, следовательно, удлинять его жизнь через отодвигание даты рождения едва ли не на пару поколений. Такую же операцию пришлось проделать с удлинением жизни Рюрика, да еще и «заставить» его родить сына в старческом возрасте...

В-третьих, пришлось удлинять время правления Игоря и превращать его в старика во время рождения собственного сына.

В-четвертых, пришлось сливать двух Олегов в одного, потому что тогда не объяснить, почему Олег Вещий не передал власть сыну Рюрика, а передал другому Олегу. Из-за такого слияния Олег получился уж очень большим долгожителем.

В-пятых, Ольгу пришлось делать не дочерью Олега Второго (ибо не мог же Игорь тогда быть женат на родственнице), а придумывать легенду, что Игорь встретил Ольгу-простолюдинку возле реки в районе Пскова. Кроме того, было бы крайне невероятно, чтобы эта простолюдинка из Пскова после смерти Игоря продолжала править в отсутствии прямой заинтересованности княжеской дружины. Свенельд, который управлял дружиной, мог быть заинтересован в ее правлении только потому, что она была женой его погибшего сына, а главное – матерью его внука, которого он взял на воспитание и потом сопровождал в походах...

Визит Ольги в Константинополь в деталях описывает сам император Константин VII Багрянородный, одновременно выдающийся историк и философ (Const. Porph. De cerem. II 15) [16, с. 360–364], и согласно его описанию, пышный прием «архонтиссы Ольги Росены» происходит по протоколу главы государства, как особы благородного происхождения, чего не могло бы быть, если бы было известно, что она простолюдинка из Пскова. На этом основании некоторые историки (архимандрит Леонид (Кавелин), Д. И. Иловайский, из современных ученых – например, А. Л. Никитин [10, с. 209 сл.]) делают вывод, что Ольга была не из русского Плескова (совр. Псков), а из болгарского Плискова (совр. Плиска), то есть, была болгарской царевной до замужества с Игорем. Если же понять, что она дочь князя Олега, то не надо придумывать ничего про Псков и про Плисков, уважительное отношение к ней со стороны византийского двора – становится понятным...

Все нестыковки в ПВЛ можно объяснить по отдельности, но нельзя – в совокупности, точнее, можно, если предположить, что автор изменений систематически преследовал одну цель – изменить происхождение великокняжеской династии, когда это исторически стало возможным по прошествии времени и исчезновении свидетелей, очевидцев и интересантов это оспорить...

Свенельд, по всей видимости, родился в районе 905 г., только так он может быть отцом Игоря, которому в 943 – 945 г. было 20 – 25 лет. Умер Свенельд, вероятнее всего, в 978 г. или чуть позже, то есть, он прожил большую и интересную жизнь, пережив и своего сына, и внука, и даже успев соправительствовать с правнуком Ярополком. Будучи соратником Олега Второго, диархом и старшим воеводой при Игоре, Ольге, Святославе и Ярополке, Свенельд дал начало княжескому роду, правившему на Руси до XVI в. и ставшему известным как «рюриковичи» ...

Примечания

1. Или, иначе, Письма из Генизы, или Кембриджского документа, называемого так по месту его нынешнего хранения, или письма Шехтера – по имени первооткрывателя. См. ниже.
2. Территория современного Азербайджана.
3. Создателем теории т.н. Тмутараканской Руси, князем которой был Хельгу-Олег, именно оттуда предпринявший поход на Каспий, был профессор Г. В. Вернадский. В своей книге «Киевская Русь» (1948) он выдвинул, кроме того, и оригинальную гипотезу относительно происхождения этого Олега: «Согласно моему предположению, Халгу, или Олег, был сыном Игоря. Он не мог быть князем Киевской Руси, поскольку киевский стол принадлежал самому Игорю. Поэтому мы можем предположить, что он был князем, или каганом, тмутараканских русских» [5, с. 42].
4. В. Я. Петрухин, не отвергая связи Хельгу-Олега с русским княжеским родом, допускает его черниговское происхождение и указывает на относительную автономность черниговской дружины как в походе Игоря 941 г., так и рейде на Бердаа 943 г. проведенном по собственной инициативе [12, с. 227–229].
5. Кинтал-рус – главный злодей эпической поэмы «Искандер-наме» (конец XII в.), описавшей каспийский поход русских, антагонист... Александра Македонского.
6. «Вторым после Сфендослава» (Святослава) Лев Диакон называет некоего Икмора, о котором известно только по византийским источникам.
7. Созвучие имен Свенельд – Сфенкал – Кинтал счел доводом в пользу того, что Свенельд возглавлял поход в Закавказье, еще М. Тебеньков (1896).
8. О подлогах, изменивших сам ход мировой истории см. нашу книгу «Троянский конь западной истории» [9].

Список источников и литературы

1. Артамонов М. И. Воевода Свенельд // *Культура древней Руси: сб. ст., посвящ. 40-летию науч. деятельности Н. Н. Воронина*. М.: Наука, 1966. С. 30–35.
2. Артамонов М. И. *История хазар*. Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1962. 522 с.

3. Бибииков М. В. Русь в византийской дипломатии: договоры Руси с греками X в. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2005. №1 (19). С. 5–15.
4. Бруцкус Ю. Д. Письмо хазарского еврея от X века: Новые материалы по истории Южной России времен Игоря. Берлин, 1924. 46 с.
5. Вернадский Г. В. Киевская Русь. М.: Ломоносовъ, 2015. 440 с.
6. Горянов Б. Г. Византия и хазары. (Обзор иностранной литературы) // Исторические записки. Т. 15. М., 1945. С. 262–277.
7. Коковцов П. К. Еврейско-хазарская переписка в X веке. Л.: Изд-во АН СССР, 1932. XXXVIII, 134 с.
8. Лев Диакон. История. М.: Наука, 1988. 240 с.
9. Матвейчев О., Беляков А. Троянский конь западной истории. СПб.: Питер, 2014. 224 с.
10. Никитин А. Л. Основания русской истории. Мифологемы и факты. М.: АГРАФ, 2001. 768 с.
11. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. 640 с.
12. Петрухин В. Я. Князь Олег, Хелгу Кембриджского документа и русский княжеский род // Древнейшие государства Восточной Европы. 1998 год: Памяти чл.-кор. РАН А. П. Новосельцева. М.: Восточная литература, 2000. С. 222–229.
13. Повесть временных лет / подгот. текста, пер., ст. и коммент. Д. С. Лихачева 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Наука, 1996. 668 с.
14. Половой Н. Я. О дате второго похода Игоря на греков и похода русских на Бердаа // Византийский временник. Т. XIV. М., 1958. С. 138–147.
15. Половой Н. Я. О маршруте похода русских на Бердаа и русско-хазарских отношениях в 943 г. // Византийский временник. Т. XX. М., 1961. С. 90–105.
16. Приемы киевской княгини Ольги в Константинополе императором Константином VII Багрянородным // Литаврин Г. Г. Византия, Болгария, Древняя Русь (IX – начало XII в.). СПб.: Алетейя, 2000. С. 360–364.
17. Слово о законе и благодати митрополита Илариона // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1: XI–XII века. СПб.: Наука, 1997. С. 26–61.
18. Устюжская летопись. Архангелогородский летописец // Полное собрание русских летописей. Т. 37: Устюжские и вологодские летописи XVI–XVIII вв. Л.: Наука, 1982. С. 56–103.
19. Фроянов И. Я. Рабство и данничество у восточных славян. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1996. 512 с.
20. Цукерман К. Русь, Византия и Хазария в середине X века: проблемы хронологии // Славяне и их соседи. Вып. 6: Греческий и славянский мир в средние века и раннее новое время: сб. ст. к 70-летию акад. Г. Г. Литаврина. М.: Индрик, 1996. С. 68–80.
21. Шахматов А. А. Очерк древнейшего периода истории русского языка. Петроград: Тип. Императорской Академии наук, 1915. XXVIII, L, 367 с. (Энциклопедия славянской филологии. Вып. 11.1).
22. Шахматов А. А. Разыскания о русских летописях. М.: Академический Проект; Жуковский: Кучково поле, 2001. 878 с.
23. Якубовский А. Ю. Ибн-Мискавейх о походе Русов в Бердаа в 332 г. = 943/4 г. // Византийский временник. Т. XXIV. М., 1926. С. 63–92.

References

1. Artamonov M. I. Voevoda Svenel'd [Sveneld the Voivode]. *Kul'tura drevney Rusi: sb. st. [The culture of ancient Russia, a collection of articles]*. Moscow: Nauka Publ., 1966. Pp. 30–35. [In Russian].
2. Artamonov M. I. *Istoriya hazar [History of the Khazars]*. Leningrad: Hermitage Museum Publ., 1962. 522 p. [In Russian].
3. Bibikov M. V. *Rus' v vizantiyskoy diplomatii: dogovory Rusi s grekami 10 v. [Russia in Byzantine diplomacy: treaties of Russia with the Greeks of the 10th century]*. *Drevnyaya Rus'. Voprosy mediyevistiki No. 1 (19) [Ancient Russia. Questions of Medieval Studies. Issue 1 (19)]*. 2005. Pp. 5–15. [In Russian].
4. Brutskus Yu. D. *Pis'mo khazarskogo yevreya ot X veka: Novyye materialy po istorii Yuzhnoy Rossii vremen Igorya [A letter of a Khazar Jew from the 10th century: New materials on the history of South Russia during the time of Igor]*. 1924. Berlin: 46 p. [In Russian].
5. Vernadsky G. V. *Kievskaya Rus. [Kievan Rus]*. Moscow: Lomonosov' Publ., 2015. 440 p. [In Russian].
6. Goryanov B. G. Vizantiya i khazary. (Obzor inostrannoy literatury) [Byzantium and the Khazars. (Review of foreign literature)]. *Istoricheskiye zapiski Vol. 15*. Moscow: 1945. Pp. 262–277. [In Russian].
7. Kokovtsov P. K. *Yevreysko-khazarskaya perepiska v X veke [Jewish-Khazar Correspondence in the Tenth Century]*. Leningrad: Akademia Nauk USSR Publ., 1932. 134 p. [In Russian].
8. Leo the Deacon *Istoriya [The History]*. Moscow: Nauka Publ., 1988. 240 p. [In Russian].
9. Matveychev O., Belaykov A. *Troyanskiy kon' zapadnoy istorii [Trojan Horse of Western History]*. Saint Petersburg: Piter Publ., 2014. 224 p. [In Russian].
10. Nikitin A. L. *Osnovaniya russkoy istorii. Mifologemy i fakty [Foundations of Russian history. Mythologemes and facts]*. Moscow: AGRAF Publ., 2001. [In Russian].
11. *Novgorodskaya pervaya letopis' starshego i mladshego izvodov [Older and Younger Recensions of the First Novgorod Chronicle]*. Moscow-Leningrad: Akademia Nauk USSR Publ., 1950. 640 p. [In Russian].
12. Petrukhin V. Ya. Knyaz' Oleg, Khelgu Kembridzhskogo dokumenta i russkiy knyazheskiy rod [Prince Oleg, the Helgu of the Cambridge Document and the Russian princely family]. *Drevnejshie gosudarstva Vostochnoj Evropy. 1998 g. Pamyati chl.-kor. RAN A. P. Novosel'tseva [The most ancient states of Eastern Europe. 1998 In memory of Corresponding Member of RAS A. P. Novoseltsev]*. Moscow: Vostochnaya literatura RAN Publ., 2000. Pp. 264–323 [In Russian].
13. *Povest' vremennykh let [The Tale of Bygone Years]*. Text prep., transl., article and comments by Likhachev D.S., 2nd ed. revised. Saint Petersburg: Nauka Publ., 1996. 668 p. [In Russian].
14. Polovoy N. Ya. O date vtorogo pokhoda Igorya na grekov i pokhoda russkikh na Berdaa [On the date of Igor's second campaign against the Greeks and the Russian campaign against Berdaa]. *Vizantiyskiy Vremennik Vol. 14*. Moscow: 1958. Pp.138–147. [In Russian].
15. Polovoy N. Ya. O marshrute pokhoda russkikh na Berdaa i russko-khazarskikh otnosheniyakh v 943 g. [On the route of the Russians' campaign against Berdaa and Russian-Khazar relations in 943]. *Vizantiyskiy Vremennik Vol. 20*. Moscow: 1961. Pp. 90–105. [In Russian].
16. Priyemy kiyevskoy knyagini Ol'gi v Konstantinopole imperatorom Konstantinom VII Bagryanorodnym [Receptions of the Kiev princess Olga in Constantinople by Emperor Constantine VII Porphyrogenitus]. *Vizantiya, Bolgariya, Drevnyaya Rus (IX –*

- nachalo XII v.) [Byzantium, Bulgaria, the Ancient Rus in the 9th — early 11th centuries]. Saint Petersburg: Aletheia Publ., 2000. Pp. 360–364. [In Russian].*
17. Slovo o zakoni i blagodati mitropolita Ilariona [Sermon on Law and Grace by metropolitan Hilarion]. *Biblioteka literatury Drevney Rusi*. Vol. 1: 11th-12th centuries. Saint Petersburg: Nauka Publ., 1997. Pp. 26–61. [In Russian].
 18. Ustyuzhskaya letopis'. Arkhangelogorodskiy letopisets [Ustyug Chronicle. Arkhangelsk chronicle]. *Polnoye sobraniye russkikh letopisey. T. 37: Ustyuzhskiy i vologodskiy letopisi XVI-XVIII vv. [Complete collection of Russian chronicles. Vol. 37: Ustyug and Vologda chronicles of the 16th-18th centuries]*. Leningrad: Nauka Publ., 1982. Pp. 56–103. [In Russian].
 19. Froyanov I. YA. *Rabstvo i dannichestvo u vostochnykh slavyan* [Slavery and tributary among the Eastern Slavs]. Saint Petersburg: St. Petersburg University Press, 1996. 512 p. [In Russian].
 20. Zuckerman K. Rus', Vizantiya i Khazariya v seredine X veka: problemy khronologii [Rus, Byzantium and Khazaria in the middle of the X century: problems of chronology]. *Slavyane i ikh sosedi. Vyp. 6: Grecheskiy i slavyanskiy mir v sredniye veka i ranneye novoye vremya: sb. st. k 70-letiyu akad. G. G. Litavrina [Slavs and their neighbors. Issue 6: The Greek and Slavic World in the Middle Ages and Early Modern Times: a collection of articles to the 70th anniversary of Acad. G. G. Litavrin]*. Moscow: Indrik Publ., 1996. Pp. 68–80. [In Russian].
 21. Shakhmatov A. A. Ocherk drevneyshego perioda istorii russkogo yazyka [The essay on the most ancient period in the history of the Russian language]. *Entsiklopediya slavyanskoy filologii. Vyp. 11.1 [Encyclopedia of Slavic Philology. Issue 11.1]*. Petrograd: Tipografiya Imperatorskoy Akademii Nauk Publ., 1915. 367 p. [In Russian].
 22. Shakhmatov A. A. *Razyskaniya o russkikh letopisyakh*. [Russian chronicle studies]. Moscow: Akademichskii Proekt Publ., Zhukovskiy: Kuchkovo pole Publ., 2001. 878 p. [In Russian].
 23. Yakubovskiy A. Yu. Ibn-Miskaveykh o pokhode Rusov na Berdaa v 332 g. - 943/4 g. [Ibn-Miskawayh about the campaign of Rus in Berdaa in 332 = 943/4 yy.] *Vizantiyskiy vremennik. Volume 24*, Moscow: 1926. Pp. 63–92 [In Russian].

Сведения об авторе

Матвейчев Олег Анатольевич –
кандидат философских наук, профессор
Национального исследовательского
университета – Высшая школа экономики
(e-mail: matveyol@yandex.ru).

Information about the Author

Matveychev Oleg Anatol'evich,
PhD, Professor of the National Research
University Higher School of Economics
(e-mail: matveyol@yandex.ru).

НА ПУТИ К «АРТАКСЕРКСОВУ ДЕЙСТВУ» ПРЕОБРАЖЕНСКОГО ТЕАТРА: ТЕАТРАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ И ЗРЕЛИЩА В РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII В.*

А. В. Белов

*Институт российской истории Российской академии наук
(г. Москва, Россия)*

Аннотация. В статье освещается путь развития традиций театра Западной Европы в России первой половины и середины XVII в., т.е. на историческом этапе, который непосредственно предшествовал официально принятой дате появления в стране первого придворного театра, за что принимается представление, данное в селе Преображенском («Артаксерово действо»). Описываются и анализируются основные события XVII столетия, способствующие знакомству, как высших представителей российского общества, так и самых широких слоев населения столичного города с традициями театральных западноевропейских празднеств. Также описываются обстоятельства и формы, в которых эти традиции стали известны москвичам. Оценивается степень новизны западноевропейского театрального дела для Московии, дается оценка причинам, затормозившим процесс проникновения в Россию норм и правил западноевропейской театральной культуры, причем носящих как военно-политический, так и субъективный характер, что было напрямую обусловлено сложными взаимоотношениями России и стран Западной Европы, возникшими в результате событий Смутного времени. Отмечаются малоизвестные моменты не только интереса русского общества к формам театрального искусства стран Запада, но непосредственное привлечение данных форм на службу русского двора, государства, Русской Православной Церкви, в том числе в связи с развитием системы образования, использующей опыт Киевской духовной академии. В работе дается анализ процессов развития театральных традиций в рамках национальной российской культуры, развивающейся под влиянием как внутренних тенденций, так и культурных заимствований у стран Западной Европы. Показываются трудности и неудачи, которые оказали влияние на особенности реализации данного процесса. Дается оценка вклада в него разных лиц, как коренных жителей страны, так и выходцев из-за рубежа, а также предлагается переоценка принятой степени «отсталости» России в деле развития театральной культуры европейского типа.

Ключевые слова: театр, западноевропейский театр, придворный театр, Преображенский театр, культура России XVII в.

***Работа подготовлена при поддержке РФФИ, проект № 18-09-00047.**

ON THE WAY TO THE "ARTAXERXES ACT" OF THE PREOBRAZHENSKY THEATER: THEATRICAL TRADITION AND SPECTACLES IN RUSSIA IN THE FIRST HALF OF THE XVII CENTURY*

A. V. Belov

*The Institute of Russian History of the Russian Academy of Sciences
(Moscow, Russia)*

Abstract. *The article highlights the development of the traditions of the Western European Theater in Russia in the first half and middle of the 17th century, i.e. at the historical stage that immediately preceded the official date of the first court theater in the country. The date of its appearance is the day of performance given in the village of Preobrazhenskoye ("Artaxerxes action"). The article describes and analyzes the main events of the 17th century that contributed to the acquaintance of both the highest representatives of the Russian society and the broadest segments of the population of the capital city with the traditions of theatrical Western European festivals. It also describes the circumstances and forms in which Muscovites got to know these traditions. The work assesses the degree of novelty of the Western European theatre for Muscovy. The article regards the reasons that slowed the process of penetration of the rules and regulations of the Western European theatrical culture into Russia (the reasons were both military-political and subjective in nature which was directly due to the complex relations between Russia and the countries of Western Europe, which arose as a result of the events of the Time of Troubles). The author notes not only the Russian society's little-known interest in the forms of art of the Western countries but also the direct involvement of these forms in the service of the Russian court, the state, and the Russian Orthodox Church, including the connection with the development of the educational system that uses the experience of the Kiev Theological Academy. The paper analyzes the development of theatrical traditions within the national Russian culture, which is developing under the influence of both internal trends and cultural borrowings from the Western European countries. The difficulties and failures that have influenced the implementation of this process are shown. The author evaluates the contribution of various individuals, both native residents of the country and people from abroad, and suggests a re-evaluation of the accepted degree of "backwardness" of Russia in the development of European-type theater culture.*

Keywords: *theater, Western European theater, court theater, Preobrazhensky theater, culture of Russia of the XVII century.*

*** The reported study was funded by RFBR, project number 18-09-00047.**

Отчет нашей театральной истории традиционной ведется от 17 октября 1672 г., когда на сцене придворного театра царя Алексей Михайловича, в его загородной резиденции селе Преображенском для узкого круга придворной знати было дано представление «Артахсерксово действо», длившееся без перерыва шесть часов подряд. Избранность данного события как изначального, наряду, например, с решением боярской думы «морским судам быть», давно стало хрестоматийным. При этом как и многие подобные даты оно являются не столько результатом отражения процесса, сколько фиксация вехи в данном процессе. Как правило наиболее заметной для исследователя того периода, когда на этот процесс было впервые обращено пристальное внимание. Данное выделение скорее определенный исторический взгляда на процесс, в то время как сам процесс (в том числе такой тонкий как становление нового направления национальной культуры) всегда имеет более глубокие корни и обширные обстоятельства.

История театра – неотъемлемая часть художественной культуры цивилизации Западной Европы. Не удивительно поэтому, что, проводя прозападную модернизацию России, Петр I наряду с медициной, военным делом и другими вопросами, обращал большое внимание на театр. Считал его внедрение обязательным.

К моменту начала реформ Петра западноевропейские театральные традиции насчитывали не одно столетие и пустили глубокие корни на своей национальной почве. По-видимому, первые городские европейские театры появились в Италии в XVI в. К этому времени относится функционирование т.н. «комедии искусства», участники которой выступали как члены единой актерской корпорации [1, с. 9]. В следующем XVII столетии уже «все города Италии пожелали иметь свои постоянные театры» [3, с. 11]. Для России подобная практика была, конечно же, в новинку, но в деле создания постоянного городского театра разрыв России со старнами Западного мира не было таким уж колоссальным, как это традиционно принято считать. Так, например, во Франции, считавшейся образцовой европейской страной эпохи

феодализма, «стали строить постоянные театры только в XVII в. Одним из первых (и важнейших) из них был так называемый «театр Большой Оперы», построенный в Пале-Рояле кардиналом Ришелье, давшим первое свое представление 14 марта 1639 г. Однако долго время его деятельность носила закрытый характер. Публичным театр Пале-Рояль стал только в 1661 г., когда Людовик XIV «подарил» его Мольеру [3, с. 12].

Нельзя сказать и то, что далекая Московия, по сути отрезанная от Европы расстояниями, и многочисленными проблемами с соседями, требующими первоочередного решения, ничего не знала о традиции театрального действия на Западе. Документы Посольского приказа демонстрируют, что при Иване Грозном в Москве активно интересовались иностранными «играми» и «потехами» [16, с. 35]. В 1658 г. одним из зрителей спектакля, данного во Флоренции, стал Василий Богданович Лихачев, составивший по этому поводу подробный отчет в Москву. Еще ранее в середине XV столетия наблюдателем «Пещного действия» был суздальский епископ Авраамий. В конце XVII в. подробную фиксацию венецианской театральной традиции оставил в своем дневнике П. А. Толстой. Подробное описание подобных зрелищ сразу несколькими очевидцами из России, указывает как на явный интерес к увиденному [9], так и на знакомство с подобного рода формами общественного развлечения.

Помимо вышеприведенных фактов западная театральная традиция оставила, по крайней мере еще один причем глубочайший след в исторической памяти русского народа. Пришедший в начале XVI в. на непродолжительный период к власти в Москве Лжедмитрий I, по свидетельству очевидца «сотворил себе в маловременной жизни потеху». Речь идет судя по всему о масштабном и что важно публичном театральном представлении «о сотворении ада на Москве-реке». Под данным определением, скорее всего, подразумевалось сооружение вертикального трехъярусного театрального пространства (ад-земля-рай) – традиционного для западноевропейского театра. В нижней части, размещался люцифер, который (по свидетельству того же мемуариста) «имеющ у себя три главы, и содела обоюду челюсти его от меди бряцало велие; егда же разверзает челюсти своя, и извну его яко пламя предстоящим ту является, и велие бряцание исходит из гортани его, зубы же ему емеющу оскабление, и ногти ему яко готовы на уха пление, и в ушью его якоже пламени распалавшуся; и постави его, проклятый он, прямо себе, на Москве-реце» [9, с. 67].

Кроме того, Лжедмитрий I привез с собой в Россию значительное число музыкантов, игрой которых часто и с удовольствием наслаждался. Известно, что с только с одной Мариной Мнишек, направляющейся к нему в Московию, в Первопрестольный русский город прибыл оркестр из 26 человек, певчие и органист с 13 слугами [15, с. 41]. Вполне возможно, что число штата «игрецов» неоднократно и значительно пополнялось впоследствии.

Как видим, форма представления, данная для массового московского зрителя уже в начале XVII в., была весьма сложной и зрелищной. Впрочем, под влиянием военно-политического момента и обстоятельств времени первого Самозванца, это привело не к заимствованию, а скорее к категорическому отторжению данного опыта. В чем упрекать собственно «москвитян» не справедливо, т.к. было связано с процессов открытой экспансии причем как военно-политической, так и религиозной. Не случайно в памяти жителей города осталось описание именно нижней части – «ада», т.е. современники напрямую связали увиденное не с театральным творчеством или развлечением, а с образом нечистивого слуги «диаволова», который (как пишет очевидец тех событий) соорудил тот вертеп «себе во обличение... и готову быти в нескончаемые муки вонь на вселении с прочими единомышленники свои» [9, с. 67]. В этом контексте становится понятным, почему после свержения и убийства пропольски настроенного Лжедмитрия I, его труп, брошенный на обозрение, был снабжен символами театрального действия – дудкой и «харей» – маскарадной маской, самой безобразной из всех, что могли найти во дворце [14, с. 360]. Тем самым убитого

царя не только сравнили с шутом-самозванцем, но и припоминали аморальное театральное действо «на Москве-реке». Эти события бесспорно способствовали отторжению в русской среде (на какое-то время) традиций западного театрального действия. Потребовалось более полувека, чтобы хоть как-то избавить память от ужасов Смуты и польской экспансии, а также отделить образы, связанные с военной и идеологической агрессией и пересмотреть свое к ним отношение. Но на этот период за западным театральным искусством накрепко привязались такие обозначения как «бесовская игра» и «пакость душевная» [5, с. 88]. Что давало себя знать и в дальнейшем.

Впрочем, и на этом этапе западноевропейские формы присутствовали в городской жизни. Их носителями были выходцы из стран Европы, проживающие в русских городах. Так как основной (по сути, доминирующей формой) их существования в России была компактность и корпоративность, то данные условия создали самую благоприятную почву для сохранения родной им культуры и для ее (пусть и ограниченного) тиражирования. Так среди московских «немцев» театральные зрелища никем не были отменены или запрещены. В форме домашнего театра они существовали и, наверняка, не только в своей среде, но и в кругу связанных с «немцами» коренных москвичей. О работе одного из таких «домашних» театров на Петровке в Москве в 1664 г. сообщает в своем отчете о поездке в Россию английский посол граф Карлейль [9, с. 69].

Также необходимо отметить, что в результате западноевропейских влияний в русской традиции на протяжении столетий формировались и собственные формы театрального прославления: церковно-обрядового, обрядово-праздничного (с явными чертами архаической древности), демократического. Так, в 1613 г. при избрании на престол Михаила Федоровича по царскому указу была сооружена Потешная Палата – первое театрально-увеселительное здание в России [5, с. 321].

Большую роль в деле развитии традиции театрального творчества на тех же западных (по сути, иезуитских началах) сыграла Киевская Духовная академия, открытая в 1615 г. и быстро ставшая важнейшим православным – культурным, религиозным и просветительским – центром Европы. Основополагающую роль в данном процессе сыграл ее ректор – Петр Могила, который преобразовал Академию по образцу польских иезуитских коллегий. К числу заимствований относился и школьный театр [6, с. 511]. Сценическое дело было введено в практику преподавания на кафедре поэзии (пиитики) и ораторского искусства (риторики). Целью выступало овладение образцовой латинской речью [5, с. 295]. При этом сценарии будущих постановок появлялись двумя путями. Или их писали сами педагогами, чтобы поставить со своими студентами и тем самым освоить необходимый материал. Или, напротив, слушателями-школярами. Главными теоретиками школьного театра выступали иезуиты Донат, Понтан и Скалигер [5, с. 305]. Из Польши эта методика сперва перекечевала на берега Днепра, а затем в рамках церковного и государственного образования в Москву и другие города России (Смоленск, Полоцк, Чернигов, Тверь, Ростов, Ярославль, Тобольск и др. [5, с. 304]).

Важной базой для ее укоренения данной традиций стала, открытая в конце XVII столетия в Москве, Славяно-Греко-Латинская академия. Большой вклад в перенесении традиции школьной драмы из Киева в Москву принадлежал Симеону Полоцкому – крупному церковному деятелю тех лет, поэту и драматургу. К крупнейшему произведению, написанному им специально для сцены, стал спектакль-панегирик «Владимир», где в образец князя-реформатора, борющегося с тьмой заблуждения язычества в защиту истинной веры, выступал Петр I и его реформаторский курс.

Другой важной фигурой на том же поприще стал Дмитрий Ростовский, произведения которого также получили широкое использование в рамках школьного театра. Исследователи выделяют как наиболее интересные две из них:

«Рождественская драма» и «Покаяние грешного человека», которая в частности входила в репертуар первого официально признанного русского театра Федора Волкова, созданного в Ярославле [15, с. 21].

Основой для школьного театра являлись библейские и евангельские сюжеты и тексты. Наибольшей популярностью пользовались истории о земной жизни Христа. За тем шли жития святых (агиографические сюжеты), а за ними – религиозные притчи и некоторые другие темы [9, с. 70]. В первую очередь панегирические спектакли, так же заимствованные из практики иезуитских школ. Их готовили в ожидании прибытия в Академию высокопоставленного гостя для прославления поступков благодетеля или политика.

Символичность образов предопределило наличие в спектакле устойчивых образов и символов. Это в частности, проявлялось в сценическом костюме, призванном преподнести героя в соответствии с его образом. В связи с чем выработалась определенная система, описанная в книге 1650 г. немецкого иезуита Масена «Зерцало образов потаенной истины, показывающие символы...». Согласно ей «Золотой век» изображался в виде «прекрасной девы с натурально распущенными волосами в золотой одежде». «Железный век» – «деве вооруженной», в «одеянии цвета железа с волчьей головой на шлеме, правой рукой, потрясающей меч, в левой держащая щит с изображением ужасного чудовища». Еще один персонаж – «Вера», так же выступала в образе «девы», но «в одеянии белом, с крестом в одной руке и с чашей в другой», «Невинность» выходила на сцену в белых одеждах с ягнцем (агнцем) и парой голубиц и т.д. При этом русские драматурги внесли в данную систему и свое видение. Так, например, Дмитрий Ростовский вывел «Невинность» в белых одеяниях, но с двумя чашами, аллегорически символизирующими кровь убитых вифлеемских младенцев и слезы их матерей [9, с. 73–74].

Известно, что в ходе представлений школяры часто использовали такие эффекты как молния, пламя, пожар. Прибегали и к театру теней. При оформлении сцены устанавливали занавесы, которые вывешивались на заднем фоне и из-за которых выходили артисты. Знали «конструкции» - разделение пространства на два вертикальных сектора: верхний – небо, нижний – земля, по сторонам некоторого игрались сцены рая и ада. Этот прием был явно позаимствован у европейского средневекового театра. Использовались в ученическом театре уже и специальные театральные машины [5, с. 317].

Помимо польских традиций русско-украинский школьный театр унаследовал нормы гуманистической драмы: классические сюжеты и структура спектакля (пролог, эпилог, иногда антипролог, и несколько действий – от трех до пяти и более). Оказала на него влияние церковь, придавшая ученическим спектаклям проповеднические черты и способствовавшая отказу от классического сюжета в пользу легендарно-библейской тематики. Третьим источником развития данного типа искусства в России стал средневековый европейский театр, передавший спектаклям, как Киева, так и Москвы, и других русских городов аллегорические фигуры [9, с. 69] («Мудрость», «Целомудрие» и т.д.). Таким образом, говорить о полном отсутствии связей в развитии культурной театральной традиции России со странами Западной Европы, нельзя.

Даже в годы, последовавшие непосредственно за периодом Смутного времени, при дворе первого царя из династии Романовых – Михаила Федоровича [7, с. 14] – постоянно находились западноевропейские игроки-потешники (Анс и Мелхарт Лун, поляк Юшка Прскура, «немчины» Иван Семенов Лодыгин, Юрий Воин-Брант, Иван Ермис и др. Правда, их трудно отнести к какому-то направлению театральной действа. Подалуй, ближе всего их умениям стоят к современному искусство цирка или эстрады. Так, например, Макарка и Ивашка Андреевы были «метальниками» (прыгунами). При этом для обучения данному ремеслу к ним приставлялись русские ребята. Так Лодыгин учил 5 человек «по канатам ходить и танцевать и всяким потехам», а еще 20

набирались у него азам игры на барабанах [5, с. 321].

Первая зафиксированная попытка пригласить к русскому двору актеров относится к 1660 г. Причиной интереса стало с одной стороны, успокоение русской памяти от ужасов польской интервенции, с другой, впечатления от знакомства с театральной жизнью городов, в которых побывали русские войска в ходе войн с Польшей 1654 и 1667 гг. В первую очередь в результате пребывания армии в Вильно, а также в Витебск, Полоцке, Могилеве, Ковно и Гродно [5, с. 323]. Известно, что конце 1660 г. царь Алексей Михайлович поручил англичанину Гебдону выслать в Москву «мастеров комедию делать» [10, с. 368].

Давно утвердилось мнение, что первые спектакли при дворе царя Алексея Михайловича сыграли вскоре после рождения его сына – будущего первого русского императора. Театральная новинка стала прямым следствием этого праздничного события [10, с. 368]. Значение момента и масштаб представления в честь рождения царевича естественно имело исключительное значение и больший масштаб. Но русский двор был готов к этой форме увеселения, распоряжение о подготовке которого относится к 15 мая 1672 г., а само представление – 17 октября того же года. Но еще в 16 февраля [7, с. 31] и в марте при русском дворе было сыграно два полноценных спектакля. В источниках они именуются «балетами», но в тот период точного деления сценического искусства на жанры еще не было [15, с. 32]. Под данным термином чаще всего подразумевалось несколько разнотипных номеров (серия скетчей) с легко узнаваемыми и популярными комическими персонажами. В этот подбор входили также танцы, буффонада, музыка, и выступление одного из персонажей – Орфея, который декламировал стихи (панегирик) в честь высочайшего зрителя. Подобные вирши были прочитаны и в честь царя Алексея Михайловича в ходе выступления февраля 1672 г. До наших дней дошел их текст, состоящий из 9 четверостиший. Приведем первое и последнее из них:

Ужели сей желанный день настал,
Ужель он нам явился наконец,
И можем мы служить, на радость нам,
И потешать тебя великий царь-отец?
.....
Взыграйте ж, струны и восславьте всем
Того, о ком я здесь сейчас пою,
А ты пирамидальная гора,
Плеши под песнь хвалебную мою [7, с. 29–30].

Упоминаемая в панегирике «пирамидальная гора» – представляла собой два инженерных сооружения, которые принимали участие в спектакле, двигаясь по сцене. Видевшей этот прием шведский посол, в своем отчете в Стокгольм охарактеризовал его как «чудесное зрелище» [7, с. 64].

Сообщение о театральном представлении в Москве дошло до Европы, и было опубликовано в частности в гамбургской газете «Nordischer Mercurius» в марте 1672 г.: «...двенадцать немцев исполнили балет для Его Царского Величества, а именно во дворе царского тестя Илии Даниеловица [Милославского]. В нем участвовали четыре римлянина, четыре дикаря, двое пьяных крестьян и двое воришек, а к ним был добавлен занимательный фигляр – Пикельхерринг. Сцена была очень красива, и Его Царское Величество сидел довольно близко к ней, а не подоплеку от него было четверо его сыновей-царевичей и самых важных министров» [7, с. 34]. Представление сопровождалось игрой на музыкальных инструментах: «на двух скрипках, одной виоле да гамбе и также на флейтах и поперечных флейтах» [7, с. 61]. Детали этого сообщения подтверждаются отчетами дипломатов, сохранившихся в шведском Государственном архиве [7, с. 49–52].

«Балет» 16 февраля 1672 г. шел 3 часа и было подготовлено всего за одну неделю и с большой спешностью.

В марте месяце представление повторилось. Как сообщает на родину шведский посол «некоторые немцы вновь разыграли перед Его Императорским Величеством балет, в котором они представляли сцены мира и войны, четырех времен года, также изобразили четырех государственных мужей, одного нищего, Пикельхерринга и швабов, двух пастухов и двух пастушек, Орфея и четырех медведей, трех охотников, четырех крестьян, восьмерых римлян и также Меркурия, так что все действие продолжалось более шести часов» [7, с. 71].

Большая часть исполнителей состояла из постоянно проживающих в Москве купцов, членов их семей и некоторых других иностранцев [7, с. 83].

Проходили театральные представления и при дворе ближнего царского боярина Артамона Сергеевича Матвеева, владевшего землями на территории Армянского переулкa [4, с. 80].

Итогом этих празднеств и стало 15 мая 1672 г. (т.е. буквально накануне рождение будущего Петра Великого), когда будущий отец приказал русскому посланнику привести из Риги актеров для торжественных представлений. В том числе предполагали увидеть в Москве «тогдашнюю знаменитость, певицу Анну Паульсон, которая была в то время с своею труппою в Копенгагене» [11, с. 10–11]. Но договор не состоялся и в Москву прибыли лишь один трубач и четыре музыканта.

Необходимо отметить, что решение это было не сиюминутным и за ним стояла существенная подготовка. Еще за месяц до того, как к проекту был привлечен Грегори, царь предписал полковнику Николаю фон Стадену «ехать к Курляндскому Якубусу князю» и пригласить там для работы в России лиц, «которые б умели всякие комедии строить» [2, с. 13]. Но и попытка Стадена пригласить в Москву, пожалуй, наиболее значимую и известную театральную труппу Европы во главе с реформатором театра Фельтоном, закончилась неудачей. Немецкие актеры испугались ехать в далекую Россию, о которой ходили разные пугающие их слухи [2, с. 30]. Показательно, что аналогичная причина возникнет и при приглашении следующей труппы уже самим Петром I.

Ближайшими помощниками Грегори стали немцы Юрий Михайлов Гибнер и Яган Пельцера. Кроме того, участие в театральном деле принимал Лаврентий Рингубер [5, с. 327].

Одновременно с этим в «подгородной» царской резиденции селе Преображенском было построено специальное театральное здание, оснащенное всем необходимым инвентарем. Согласно высочайшему распоряжению «180 (1672) июня 4-й день.... царь... Алексей Михайлович... указал иноземцу магистру Ягану Готфриду учинить комедию и на комедии действовать из библии книгу Эсфири и для того действия учинить хоромину вновь, а на строение... и по тому... указу комедийная хоромина построена в селе Преображенском со всем нарядом, что в тое хоромину надобно» [12, с. 7]. Одновременно пастору лютеранской церкви Новонемецкой слободы Иоганну Готфриду Грегори поручили собрать труппу в 60 человек из детей служилых и торговых иноземцев, проживавших в той же «подгородной» слободе [10, с. 368–369]. Обращение к Грегори стало результатом отказа немецкой труппы и большого личного желания царя Алексея Михайловича незамедлительно подготовить театральный праздник [2, с. 30].

17 октября 1672 г. в преображенском театре состоялось то самое первое театральное представление, которое принято считать первым истории русского театра, – «Артаксерксово действо» («Комедия, как Артаксеркс велел повесить Амана по царицыну челобитью и Мардохеину наученью» [9, с. 78]). Началось оно в 9 часов вечера [2, с. 16] и длилось 10 часов подряд [12, с. 7], за которое зрители наблюдали за сценическим действием, не вставая со своих мест [2, с. 18]. Известно, что в качестве исполнителей выступали, как актеры – «немцы», так и «люди» (слуги) боярина

Артамона Сергеевича Матвеева», а также другие (не многие немногие), прибывшие из Германии комедианты, плясуны, музыканты: «и в органи играли, и на фиолах и в страменты и танцевали» [2, с. 16].

Общее число первых исполнителей, состоящих из детей служилых и торговых иноземцев, было весьма значительным для первого раза – около 60 человек. Среди них был и Блюментрост, ставший впоследствии лейб-медиком Петра Великого и первым президентом Академии наук России. Причем за свои труды этот юноша получал жалование по 4 деньги в день [5, с. 328].

Выбор пьесы оказался напрямую связан с отказом современной европейской труппы от приглашения в Москву и вынужденное перепоручение подготовки праздника, проживающему в России немцу-пастырю Грегори. Будучи оторванным от европейских театральных новинок, он воспользовался бывшей в его распоряжении публикации «английских комедий», вышедших в свет в 1620 г. На первом месте в них стояла «комедия об Эсфири и Амане», превращенное в «Артаксерксово действо» [2, с. 30].

Само театральное здание («Комедийная хоромина»), выстроенная в селе Преображенском представляла собой деревянную клеть «сажен десять в квадрате да в вышину шесть сажен». По периметру ее огораживал тын со створчатыми воротами. Стены внутри стояли обтянутые красным и зеленым сукном зрительные места. Под ногами лежали ковры. Для борьбы со сквозняками помещение полностью подбили войлоком. Освещалось оно сальными свечами [2, с. 16], поэтому, если учесть, что вспомнить, что представления шли по многу часов, атмосфера в зрительном зале должна была быть в буквальном смысле удушающей.

Самой действо, по крайней мере, внешне отличалось профессионализмом подготовки. Имелась сцена, которая приподнималась над полом и отделялась от зала брусом с перилами и «шпалером» – раздвижным занавесом, подвешенном на медных кольцах. Перед ней была установлена рампа: деревянная доска с прикрепленными на ее поверхности своеобразными подсвечниками со вставленными в них свечами [2, с. 17]. Имелись и декорации – «рамы перспективного письма», выполненные знатоком этого дела – «перспективного дела мастером» голландцем Петром Энглером [2, с. 17]. Специально шились и костюмы, отличающиеся роскошью и, как следствие, стоимостью. На их изволения шли «шроковые персидские [2, с. 18] пестряди», «анбургские» сукна, «атлас волнистый турецкий». Специально готовилась и бутафория: деревянное копье, латы «большие ж от головы до коленей», парик и борода, «шлем белого железа» и, вероятно, другие.

При подготовке оформления спектакля привлекались русские. Источники сохранили имя первого (известного нам) работника сцены – Гаврилка Филонов [2, с. 17].

Зрителями первого представления в Преображенском выступала придворная знать, представители которых получили через сокольничих и конюхов особо извещали о том, чтобы «быть с Москвы нарошно к великому государю в походу, в село Преображенское» [2, с. 16].

Как мы видим, ни одно крупной дело (даже в стадии своего начинания) не возникает на неподготовленной почве. До события, принявшего на себя статус начала театрального действия в России, страна была не только знакома с данной формой проведения досуга, но и уже пыталась практиковать ее в своей среде. Собственно, это и стало причиной интереса к западноевропейскому сценическому действию, вылившемуся в появление в селе Преображенском «Театральной хоромины». Иными словами, Россия не была чужда западноевропейской театральной традиции или не знакома с ней. Смута и усиленное в результате ее отрицание латинства в любых формах (точнее будет сказать страх перед повторением военно-идеологической экспансии) затормозил процесс восприятия театральной традиции, но не остановил его.

В данном процессе особое значение имела именно последняя четверть XVII в., а на его фоне – закат правления царя Алексея Михайловича, что в общем-то и объясняет почему представления «Артаксерово действо» закрепило за собой в национальной памяти статус первой сценической постановки. Но кроме него именно при втором царе из династии Романовых было положено начало полупрофессиональному театральному делу в России. В последней четверти XVII столетия в России была создана первая театральная школа, когда в 1675 г. 27 юношей из числа посадских детей были отданы на выучку на три месяца антрепренеру Ягану, прибывшему в страну в 1673 г. с небольшой немецкой труппой [4, с. 80]. Заработали (пусть в первом, зачаточном состоянии) все виды театров, получившим развитие в последующее столетие: театры придворные, «вольные» (частные), городские-общедоступные (публичные). Тогда же началось формированию домашних оркестров и певческих хоров [13, с. 481], что получила особое «укоренение» в дворянской культуре XVIII и XIX вв. [8, с. 34], причем преобладающее над воспетыми домашними крепостными труппами.

Список источников и литературы

1. *Maschere italiane*. Firenze: Giunti Gruppo Editoriale, 2002. 110 p.
2. Бескин Э. М. История русского театра. Ч. 1. М. ; Л.: Гос. изд-во, 1928. 243 с.
3. Большой Московский театр и обозрение событий, предшествующих основанию правильного русского театра. М.: Унив. тип., 1857. 79 с.
4. Бочаров Н. П. Статистические сведения о четных театрах в Москве в конце прошлого столетия и Большой Петровский театр // Москва и москвичи: историко-статистические очерки, исследования и заметки. Вып. 1. М.: Тип. М. П. Щепкина, 1881. Ст. 69–76.
5. Всеволодский-Гернгросс В. Н. История русского театра. В 2 т. Т. 1. Л. ; М.: Театино-печать, 1929. 576 с.
6. Всеобщая история театра. М.: Эксмо, 2012. 573 с.
7. Дженсен К., Майер И. Придворный театр в России XVII века. М.: Индрик, 2016. 200 с.
8. Дынник Т. А. Крепостной театр. М. ; Л.: Academia, 1933. 334 с.
9. Евреинов Н. Н. История Русского театра // История русского театра : сб. М.: Экспо, 2019. С. 7–372.
10. Еремин И. П. Московский театр XVII в. // История русской литературы. В 10 т. Т. 2, ч. 2: Литература 1590-х – 1690-х гг. / АН СССР. М. ; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. С. 368–373.
11. Опочинин Е. Н. Театральная старина. Исторические статьи. Очерки по документам. Мелочи и курьезы. М.: ред. журн. «Развлечение», 1902. 289 с.
12. Погожев В. П. Столетие организации Императорских Московских театров: (Опыт исторического обзора). Вып. 1, кн. 1: Обзор с 1806 по 1826 г. СПб.: Дирекция имп. театров, 1906. 380 с.
13. Пыляев М. И. Замечательные чудачки и оригиналы; Старое Житие. М.: Фирма СТД, 2007. 640 с.
14. Скрынников Р. Г. Лихолетье: Москва в XVI–XVII веках. М.: Моск. рабочий, 1988. 540 с.
15. Федор Григорьевич Волков (1729–1763) и русский театр его времени : сб. материалов / [отв. ред. Ю. А. Дмитриев]. М.: АН СССР, 1953. 256 с.
16. Шамин С., Дженсен К. Иностранные потешники при дворе первых московских царей // Российская история. 2018. № 1. С. 32–46.

References

1. *Maschere italiane*. Firenze: Giunti Gruppo Editoriale. 2002. 110 p.
2. Beskin E. M. *Istoriya russkogo teatra. Ch. 1. [History of the Russian Theater. Part 1]*. Moscow: Leningrad: Gosudarstvennoe izdatel'stvo Publ., 1928. 243 p. [In Russian].
3. *Bol'shoy Moskovskiy teatr i obozreniye sobytiy, predshestvuyushchikh osnovaniyu pravil'nogo russkogo teatra [The Bolshoi Moscow Theater and a Review of the Events Preceding the Founding of the Proper Russian Theater]*. Moscow: Universitetskaya tipografiya Publ., 1857. 79 p. [In Russian].
4. Bocharov N. P. Statisticheskiye svedeniya o chetnykh teatrakh v Moskve v kontse proshlogo stoletiya i Bol'shoy Petrovskiy teatr [Statistical Information about the Even Theaters in Moscow at the End of the Last Century and the Bolshoi Petrovsky Theater]. *Moskva i moskvichi: istoriko-statisticheskiye ocherki, issledovaniya i zametki. Issue 1*. Moscow: Tipografiya M. P. Shchepkina Publ., 1998. Pp. 69-76. [In Russian].
5. Vsevolodsky-Herngross V. N. *Istoriya russkogo teatra. V 2 tomakh. Tom 1. [History of Russian theater. In 2 volumes. Volume 1]*. Leningrad; Moscow: Tea-kino-pechat' Publ., 1929. 576 p. [In Russian].
6. *Vseobshchaya istoriya teatra [General History of Theater]*. Moscow: Eksmo Publ., 2012. 576 p. [In Russian].
7. Jensen K., Maier I. *Pridvornyy teatr v Rossii XVII veka. [The Russian Court Theater in the Late 17th Century]* Moscow: Indrik Publ., 2016. 200 p. [In Russian].
8. Dynnik T. A. *Krepostnoj teatr [Serf theater]*. Moscow; Leningrad: Academia Publ., 1933. 334 p. [In Russian].
9. Evreinov N. N. *Istoriya Russkogo teatra [The History of Russian Theatre]*. *Istoriya russkogo teatra*. Moscow: Ekspo Publ., 2019. Pp. 7-372. [In Russian].
10. Eremin I. P. *Moskovskiy teatr XVII v. [Moscow theater of the 17th century]*. *Istoriya russkoy literatury. V 10 tomakh. Tom 2, chast' 2: Literatura 1590-kh – 1690-kh gg. [History of Russian Literature. In 10 volumes. Vol. 2, part 2: Literature of the 1590s - 1690s]*. The USSR Academy of Sciences. Moscow; Leningrad: AN SSSR Publ., 1948. Pp. 368-373. [In Russian].
11. Opochinin E. N. *Teatral'naya starina. Istoricheskiye stat'i. Ocherki po dokumentam. Melochi i kur'yezy [Theatrical antiquity. Historical articles. Essays on documents. Little things and amusing incidents]*. Moscow: izdaniye redaktsii zhurnala "Razvlecheniye", 1902. 289 p. [In Russian].
12. Pogozhev V. P. *Stoletiye organizatsii Imperatorskikh Moskovskikh teatrov: (Opyt istoricheskogo obzora). Vyp. 1, kn. 1: Obzor s 1806 po 1826 g. [Century of organization of the Imperial Moscow theaters. (Experience of a Historical Review). Issue 1, book 1: Overview from 1806 to 1826]*. StPetersburg: Direktsiya imperatorskikh teatrov Publ.. 1906. 388 p. [In Russian].
13. Pyliaev M. I. *Zamechatelnye chudaki i originaly; Staroye Zhit'ye [Amazing Cranks and Eccentrics. Old life]*. Moscow: Firma STD Publ., 2007. 640 p. [In Russian].
14. Skrynnikov R.G. *Likholet'ye: Moskva v XVI–XVII vekakh [Hard times: Moscow in the 16th - 17th centuries]*. Moscow: Moskovskiy rabochiy Publ., 1989. [In Russian].
15. *Fedor Grigor'yevich Volkov (1729–1763) i russkiy teatr yego vremeni : sbornik materialov [Fedor Grigorievich Volkov (1729-1763) and the Russian theater of his time: collection of materials]*. Moscow: AN SSSR Publ., 1953. 540 p. [In Russian].
16. Shamin S., Jensen C. *Inostrannyye poteshniki pri dvore pervykh moskovskikh tsarey. [Foreign entertainers at the court of the first Moscow Tsars]*. *Rossiyskaya istoriya*. 2018. Issue 1. Pp. 32-46. [In Russian].

Сведения об авторе

Белов Алексей Викторович –
кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник
Института российской истории
Российской академии наук
(e-mail: belovavhbst@mail.ru).

Information about the Author

Belov Aleksey Viktorovich,
PhD in History, Senior Researcher of the
Institute of Russian History of the
Russian Academy of Sciences
(e-mail: belovavhbst@mail.ru).

ИСТОРИКИ НА ОТДЫХЕ: ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ САНАТОРИЕВ ЦЕКУБУ И АКАДЕМИИ НАУК В 1920-1960-Х ГГ.*

О. И. Секенова

*Институт этнологии и антропологии Российской академии наук
(г. Москва, Россия)*

Аннотация. В статье рассматривается санаторно-курортный отдых научных работников как элемент досуговой повседневности советского академического сообщества 1920-х – 1960-х гг. Автор анализирует, как изменялась санаторно-курортная система Академии наук перед вызовами времени, как организовывался отдых научных работников, какие практики повседневного досуга были типичными для отдыхающих. По делопроизводственным документам из архива Российской академии наук и материалам эго-документов советских историков: личной переписке, воспоминаниям, дневникам, стихотворениям – становится возможным охарактеризовать контингент санаториев системы Академии наук, процесс получения путевок в санатории, материальные привилегии, доступные для отдыхающих научных работников и иные стороны академической повседневности. Санатории Академии наук, созданные по инициативе ЦЕКУБУ, стали одним из важнейших способов материального поощрения научных работников в СССР. В отличие от коллег-физиков, ученые-гуманитарии 1920-х – 1930-х гг. не могли мечтать о поездке на отдых за границу, поэтому путевка в советский санаторий системы ЦЕКУБУ (а позднее, АН СССР) виделась им наилучшей возможностью испытать на себе «буржуазный отдых», отвлечься от бытовых и профессиональных проблем, предаться воспоминаниям в кругу старых друзей и профессиональных единомышленников. Тем не менее, контингент санаториев АН СССР не ограничивался научными работниками и членами их семей. Особый статус этих санаториев, их «элитарность», неповторимая атмосфера интеллектуального общения заставляли и представителей иных профессий стремиться именно в эти дома отдыха. Возможность «достать» путевку в специализированный санаторий или дом отдыха для научных работников или, напротив, способность как-либо пролоббировать интересы санатория в органах власти становились ценными активами советской неформальной экономики, способом получения других ценных услуг. Досуг ученых в санаториях в 1920 – 1930 гг. организовывался самими отдыхающими (они устраивали публичные лекции, концерты, походы и экскурсии), впоследствии эта функция постепенно переходила к администрации санаториев и домов отдыха.

Ключевые слова: повседневность, досуг, санатории, Академия наук СССР, ЦЕКУБУ.

***Исследование выполнено в рамках проекта РФФИ 19-09-00191.**

HISTORIANS ON VACANCES: EVERYDAY LIFE OF TSEKUBU AND ACADEMY OF SCIENCE SANATORIALS IN 1920 – 1960-IES*

O. I. Skenova

*The Institute of Ethnology and Anthropology RAS
(Moscow, Russia)*

Abstract. *The article focuses on the sanatorium-resort recreation of the Soviet researchers as the element of leisure in everyday life of the Soviet academic community in 1920 – 1960-ies. The author analyses how the sanatorium-resort system of the Academy of Science have changed in response to contemporary challenges, how the recreation of the researchers was organized, which practices of leisure time were typical for the vacationers. Using the papers of the Academy of Science and the ego-documents of the Soviet historians (personal correspondence, memoirs, diaries, poetry) it is possible to characterize the contingent of the Academy of Science resorts, the process of getting the vouchers to the resorts, material privileges that were available for recreating researchers and the other elements of the academic everyday life. The sanatoriums of the Academy of Sciences, created on the initiative of TSEKUBU (the Central Commission for Improving the Life of Scientists), became one of the most important ways of material encouraging for scientific workers in the USSR. The humanities scientists of the 1920s – 1930s could not dream of going on vacation abroad, so a voucher to a Soviet sanatorium of the TSEKUBU system (and later, the USSR Academy of Sciences) saw them as the best opportunity to experience "the bourgeois rest", escape from professional problems, look aside in memories with old friends and professional like-minded people. Nevertheless, the contingent of sanatoriums of the USSR Academy of Sciences was not limited to scientists and their family members. The special status of these sanatoriums, their "elitism", and the unique atmosphere of intellectual communication forced representatives of other professions to strive for these rest homes. The ability to "get" a ticket to a specialized sanatorium or a holiday home for scientists, or, on the contrary, the ability to lobby the interests of the sanatorium in the government became valuable assets of the Soviet informal economy, a way to obtain other valuable services. Leisure of scientists in sanatoriums in 1920 – 1930 was organized by the vacationers themselves (they organized public lectures, concerts, hikes and excursions), later this function gradually passed to the administration of sanatoriums and rest homes.*

Keywords: *everyday life, leisure, sanatoriums, Academy of Sciences of the Soviet Union, TSEKUBU.*

***The reported study was funded by RFBR, project number 19-09-00191.**

Выпуск киножурнала «Фитиль» «Коварство и любовь» за 1965 год [14] рассказывает историю театральной билетерши, доставшей путевку в санаторий Академии наук в надежде устроить свою личную жизнь и решить бытовые трудности, влюбив в себя немолодого академика. По законам жанра фельетона, эта попытка не увенчалась успехом: ухаживая за пожилым отдыхающим, билетерша не знала, что он находится в санатории лишь на правах мужа женщины-академика. Автором идеи и сценария киносюжета был советский писатель В. М. Санин. И хотя сама интрига фельетона, вероятнее всего, была придумана автором (что, впрочем, не говорит о ее нереальности), короткое видео демонстрирует ряд важных для историка повседневности моментов, связанных с санаторным бытом советских научных работников 1960-х гг. и с которыми не понаслышке был знаком автор фельетона: возможность получить путевку не только за научные заслуги, а по знакомству, материальные условия отдыха (питание, номера), практики досуга, типичные для проживающих в санатории. Изучение досуговой повседневности советских научных работников 1920-1960 гг., отраженной в фельетоне, ставит перед исследователем ряд вопросов: как изменялась санаторно-курортная система Академии наук перед вызовами времени, как организовывался отдых научных работников, какие практики повседневного досуга были типичными для отдыхающих научных работников, как складывались взаимоотношения между людьми в санатории. Некоторые из этих вопросов уже ставились в научной литературе (санатории как привилегия научных работников рассматривались Н. Л. Пушкаревой [24, 25], О. А. Хабибрахмановой [28], Е. А. Долговой [11]; также есть ряд работ по изучению системы организации отдыха конкретных санаториев [19, 20, 26], а работа М. Ю. Коробко на основе воспоминаний отдыхающих раскрывает некоторые стороны повседневной жизни санатория «Узкое» [15]). Основная задача данной статьи: рассмотреть изменения повседневной жизни в системе санаторно-курортного отдыха научных работников по делопроизводственным документам из архива Российской академии наук и

материалам эго-документов советских историков: личной переписке, воспоминаниям, дневникам, стихотворениям.

Система санаторно-курортного отдыха научных работников: трансформация с 1920-по 1960-е

История создания системы санаторно-курортного отдыха для научных работников напрямую связана с созданием ЦЕКУБУ (Центральной комиссии по улучшению быта ученых при СНК СССР), в 1921 году объединенной из ПетроКУБУ и МосКУБУ [30, с. 79–80]. Одним из направлений деятельности комиссии в 1921–1923 гг. было создание санаториев для ученых, как правило, на базе богатых дореволюционных усадеб или дач в южных регионах страны (так, санаторий «Узкое» открылся в 1922 году в бывшей усадьбе князей Трубецких, санаторий «Сосновый бор» в Болшево – в усадьбе Прове-Калиша). Также появляются санатории для научных работников в Детском селе под Петроградом, в Гаспре (Крым) и в Кисловодске [26, с. 20–22]. Изначально путевки на научные и иные организации распределяла ЦЕКУБУ (после 1931 года под ударами критики преобразованная в Комиссию содействия ученым при СНК СССР) [22]. Ситуация изменилась в 1937 году, когда КСУ была уничтожена, поликлиники и дома отдыха ученых были переданы в ведение Академии наук СССР [4, л. 1–2], а санатории были переданы Наркомату здравоохранения СССР. При этом путевки для ученых выделялись и в санатории Министерства здравоохранения. Наилучшим выходом для распределения путевок в данном случае виделась передача этой функции профсоюзам. При этом такая двойственная система подчинения санаториев сохранялась достаточно долго и провоцировала конфликты (каждая из организаций полагала, что лучше справится с этими активами, чем вторая). Так, начало периода оттепели ознаменовалось для санаторно-курортной системы Академии наук большим скандалом, связанным с передачей нескольких санаториев в Министерство здравоохранения СССР. В ходе борьбы за любимые санатории шли коллективные письма профессоров и академиков на имя Президента АН СССР Несмеянова с просьбой сохранить санаторий Сосновый бор и санаторий имени М. Горького в Кисловодске как специализированные санаторные учреждения для обслуживания отдыхающих научных работников АН и др. научных учреждений и вузов [5, л. 11–13]. Санаторий «Сосновый бор» описывался как созданный именно для профессуры «соответственно с потребностями и запросами этой группы работников умственного труда» [5, л. 11]. В свою очередь, в борьбе за санатории Министерство здравоохранения использовало фельетоны. Так, фельетон «Лесной гибрид» в газете «Медицинский работник» от 25 сентября 1956 года №77 прямо намекал на то, что поликлиника №1 Академии наук СССР использовалась не по назначению (как место лечения больных ученых), а как санаторий для посторонних лиц. Эти намеки спровоцировали целую проверку со стороны Управления финансирования Культуры здравоохранения и социального обеспечения Министерства финансов СССР, которая опровергла это заявление и установила, что «в отделении больницы поликлиники №1 АН в Болшево находились на излечении действительно больные ученые и работники АН СССР, а не просто отдыхающие, как утверждает автор фельетона» [5, л. 82]. В итоге был найден компромисс: в соответствии с указанием Совета министров СССР от 4 апреля 1956 года АН СССР было предоставлено право по-прежнему использовать санатории и дом отдыха АН независимо от их передачи министерству здравоохранения РСФСР [5, л. 110].

Санатории, созданные в эпоху НЭПа, некоторое время очень ограниченно пользовались благами государственного снабжения. Историк С. А. Пионтковский писал в дневнике в 1928 году: «Сотни тысяч приезжающих на минеральные воды всецело попадают в руки к частнику, снабжающему их булками, фруктами, шашлыком, вином, одеждою, лошадьми – одним словом всем кроме нарзанных ванн и лечебной, которые находятся в руках государства» [21, с. 98–99]. После реформы КСУ (бывшей ЦЕКУБУ) 1937 г. снабжение продуктами санаториев системы Академии

наук стало производиться на основании лимитов АН СССР из спецбазы Главгастронома, но кроме лимитированных продуктов санатории снабжались еще и из подсобных хозяйств «в целях улучшения питания отдыхающих» [4, л. 35]. После коллективизации санатории системы Академии наук получили в распоряжение подсобные хозяйства – совхозы (во время Великой Отечественной войны они были на время переданы в распоряжение Курортного управления [6, л. 12]). В тяжелые послевоенные годы это было серьезной привилегией для санаториев, которые, тем не менее, продолжали бороться за улучшение снабжения, используя для этого возможности отдыхающих. Пример того, как руководство санаториев решало проблемы снабжения, можно увидеть в обширном эпистолярном наследии дипломата (посла СССР в Англии в 1930-е гг.) и историка И. М. Майского. Во время отдыха в санатории имени Горького Академии наук в Кисловодске, И. М. Майский подружился с директором санатория А. В. Венгеровским, и, по его просьбе, в 1947 году писал письма в Курортное управление с хвалебными отзывами о работе директора и с просьбами улучшить материальное положение санатория: «Необходимо вместо отданного им в прежние годы совхоза Аликоновка, который имел 1185 га площади, включая 200 га пашни, 60 га садов, 48 га огородов и 110 коров, 80 свиней, 450 баранов, 50 лошадей, 2,5 тыс. птиц, 50 ульев и т.д. получить хотя бы совхоз Подкумское в 267 га площади» [6, л. 11–12]. Также И. М. Майский просил о передаче санаторию автобуса, легковой машины «эмка» (т.е. ГАЗ-М1) и двух виллис (американских армейских военных автомобилей повышенной проходимости, поставленных в СССР по ленд-лизу) для организации дальних экскурсий отдыхающих в горную местность. (Для сравнения, подмосковный дом отдыха Академии наук в Узком в тот момент был обеспечен лишь двумя единицами автотранспорта: полутонной ГАЗ АА, и автобусом. Все эти транспортные средства санаторий получил еще в тот момент, когда работал в качестве госпиталя в 1941–1943 гг. [4, л. 35]). Почти во всех просьбах И. М. Майскому было отказано (И. Зубов, корреспондент И. М. Майского по переписке туманно пообещал только автобус и легковую машину [6, л. 13]), но при этом подобным участием в судьбе санатория, И. М. Майский добивался, в первую очередь, максимального комфорта для себя во время санаторного отдыха, что было условием традиционных для этой сферы в 1930–1940-х гг. патрон-клиентских отношений (пример аналогичных паттернов поведения приводит Л. А. Кузнецова в кейсе реконструкции Сочинского курорта в 1930-е гг. [17]).

Распределение путевок среди ученых и контингент отдыхающих

Сама идея об отдельных домах отдыха для научных работников, подведомственных ЦЕКУБУ, сразу же столкнулась с иной реальностью: в 1920-х–1930-х гг. ученые не составляли большинства отдыхающих в санаториях. Путевки распределялись между театральными и литературными деятелями, представителями номенклатуры, старыми революционерами и иными лицами, претендовавшими на отдых в новой санаторно-курортной системе. То, что в академических санаториях ученые составляли далеко не большинство отдыхающих объяснялось в официальных документах в первую очередь тем, что «большинство ученых связано с преподаванием в вузах Советского Союза», из-за чего научные работники отдыхали в основном во 2 и 3 кварталах, а в другое время санаториями и домами отдыха практически не пользовались [5, л. 6]. Е. А. Долгова характеризует систему распределения путевок в санатории для научных работников в 1920–1930-е гг. как проявление механизма корпоративных связей, сложившегося еще до 1917 года [11, с. 124]. Во многом это мнение основано на критике организации ЦЕКУБУ в тенденциозной статье Е. А. Коровина «Зачем существует ЦЕКУБУ?» [16], хотя почти все ее положения опровергались современниками (как в эмигрантской прессе [27], так и в личных дневниках [23]). Безусловно, часть «цекубистов» составляли еще дореволюционные профессора (преподаватель истории И. И. Шитц объяснял это тем, что среди них «действительно, много еще ученых и притом прежних, ибо новых то ведь и нет!»

[31, с. 164]), следовательно, от них можно было бы ожидать помощи и поддержки, в первую очередь, для своих старых коллег и друзей. Но даже на примере ученых-историков сложно согласиться с мнением, что распределение мест в санаториях шло в соответствии с дореволюционной научной иерархией. Если в 1920-х гг. деятельность экспертных комиссий по получению персональных пенсий или денежного обеспечения более высокой категории, еще могла подкрепляться личными симпатиями и ходатайствами [1, с. 249] (хотя коллегиальный характер деятельности экспертных комиссий также заставляет в этом сомневаться), то распределение путевок в санатории выглядело еще более непредсказуемым процессом (в качестве примера можно привести письмо историку Н. Д. Чечулину от историка С. Ф. Платонова, в котором Платонов писал о невозможности достать для товарища путевку в санаторий, но допускал выделение Чечулину пособия на лечение в 200 рублей всего лишь по ходатайству [1, с. 259]). И. И. Шитц рассказывал о типичной практике 1930-х гг., когда после тяжелой «проработки» и увольнения из университетов, историкам давали путевку в санаторий «в насмешку» [31, с. 275].

Распределение путевок на отдых проходило уже внутри организаций, и, соответственно, объективность распределения путевок зависела исключительно от внутренней личной атмосферы в конкретном подразделении. В 1920-е гг. не только известные профессора-историки дореволюционной школы пользовались привилегией посещения санаториев, но и все более молодые представители «Школы Покровского» также имели возможность отдыхать на первых советских курортах для работников науки. Необходимо отметить, что лишь немногие ученые пользовались возможностью отдыхать на зарубежных курортах в сталинскую эпоху, и среди них не было ни одного представителя гуманитарных наук: только физики и химики [3]. Таким ученым, как знаменитый химик Л. В. Писаржевский, был доступен отдых во Франции и санаториях Карлсбада в середине 1930-х гг. [3, л. 113]. Уже в 1950-е гг. многие ученые посетили санатории в Карловых Варах: были выделены 40 путевок в 1956 году и 150 в 1957 году [5, л. 73] (среди отдыхавших преимущественно были физики – первая женщина-академик АН СССР Л. С. Штерн, М. М. Кусаков, К. М. Косиков, геологи – Б. И. Лосев, Т. Ф. Горбачев [5, л. 20, 32, 48, 60, 61]). Примечательно, что все перечисленные исследователи кроме Л. С. Штерн выезжали за границу с супругами, также путевками воспользовались супруга философа-марксиста А. М. Деборина И. И. Деборина-Гроер и вдова геолога Б. И. Чернышева [5, л. 16, 70]. Позднее в эпоху оттепели постепенно получают возможность выехать за рубеж в туристические поездки и ученые-гуманитарии [29].

Описанная выше система распределения путевок не только среди научных работников, но и среди представителей творческой интеллигенции и отличившихся на производстве рабочих отражалась на контингенте санаториев Академии наук еще в конце 1920-х гг.: они становились не местом отдыха избранной научной элиты, а, скорее, витриной «правильного» досуга лучших советских людей, наградой за их труд на благо советского общества. При этом само размещение в санаториях, в которые ЦЕКУБУ распределяла путевки, имело строго определенную иерархию. Это было заметно для всех отдыхающих, которые видели в этом несправедливость и несоответствие советской идеологии, но опасались выражать свое мнение публично, ограничиваясь только едкими замечаниями в дневниках: «Для ответственных работников имеются особые санатории. И если в них обычно люди помещаются по три человека в одной комнате, для особо ответственных работников дают целые дачи» [21, с. 100]; «в ЦЕКУБУ часть домов отдыха выделена для «уважаемых» ученых – профессоров и т. д. Аспиранты же и т. п. пользуются санаториями попроще через Секцию Научных работников» [31, с. 325]. Судя по эго-документам, санаторий в «Узком» был более элитным, чем другие санатории Академии наук. Этим он был более привлекателен для старой дореволюционной профессуры (отдых вместе с яркими личностями из литературных кругов и возможность поддерживать старинные

знакомства и связи отмечались как несомненные достоинства этого санатория [12, с. 297–303]). В санаториях в Гаспре и Кисловодске контингент был несколько иным. Историк М. В. Нечкина писала супругу из южного санатория: «Публика здесь обычная цекубистская, т.е. на 70% сволочь, остальные 30 – есть хорошие» [8, л. 120]. Историк С. А. Пионтковский в 1928 году в дневнике писал о санатории в Кисловодске: «В нашем санатории все партийцы, человек 120. Но какая здесь смесь одежды и лиц. Правда, публика все люди средней руки, губернский актив, ответработники. Партийные сановники не мешаются даже во время отдыха с рядовой партийной шпаной. Ни в одной, пожалуй, стране аристократия не поставлена так крепко и в высоко привилегированные условия, как у нас» [21, с. 100]. Также С. А. Пионтковский отмечал небольшое количество женщин в санатории (в основном, это были женщины «все в возрасте, потрепанные жизнью» [21, с. 101]). Эти воспоминания подтверждают, что практика «семейного» отдыха в санатории возникла позднее и тоже была своего рода привилегией для научных работников высокого ранга (в первую очередь, академиков и докторов наук) [2, л. 6]. Переписка М. В. Нечкиной также демонстрирует, что совместный отдых супругов в санаториях Академии наук не практиковался (она и ее супруг, химик Д. Я. Эпштейн всегда отдыхали порознь, ведя при этом обширную переписку. В некоторых письмах, М. В. Нечкина дразнила мужа по поводу их разлуки «...А рогов я тебе еще не наставляла и пока не собираюсь» [8, л. 75], описывая этим, тем не менее, стереотипное представление о санаторной жизни [18]).

Некоторые стороны процесса получения путевок и борьбы за улучшение условий отдыха в 1940-е – 1960-е гг. легко реконструируются по эго-документам. Так, например, обширная переписка дипломата и историка И. М. Майского с начальством различных санаториев и московскими чиновниками, в свою очередь, демонстрирует процесс «добычи» путевок с наилучшими условиями отдыха: на правах академика и человека, у которого за плечами «60 лет участия в революционном движении», Майский никогда не удовлетворялся обычными условиями санатория, а требовал «двухкомнатный номер-люкс» или, по крайней мере, «полулюкс с санузелом» [6, л. 47, 49]. Без сомнения, И. М. Майский следовал установленным правилам игры, поэтому в просьбах не ограничивался только руководством санатория и подкреплял свои требования письмами от членов Президиума Академии наук СССР и иных знакомых ему представителей номенклатуры. Интересно, что все привилегии для себя он требует именно в статусе академика, а не бывшего посла и ветерана дипломатической службы (следовательно, по его мнению, статус академика АН СССР в системе распределения материальных благ был выше). Аналогичная ситуация происходила с прикреплением И. М. Майского к ведомственной больнице. После того, как И. М. Майский боролся с последствиями инфаркта в кремлевской больнице в Кунцево в 1959 году, он регулярно писал письма в 4-е Главное управление при Минздраве СССР (занимавшегося правительственной медициной) и лично К. Е. Ворошилову, А. И. Микояну, заведующему Идеологическим отделом ЦК КПСС Л. Ф. Ильичёву с просьбой помочь ему и жене прикрепиться к Кремлевской системе медобслуживания [6, л. 33, 39], параллельно с этим ругая систему здравоохранения Академии наук, которую в письмах директорам санаториев очень хвалил: «в нашей академической системе, к сожалению, санаторное дело обстоит очень плохо, а в академической аптеке часто нельзя найти даже самых обыкновенных лекарств» [6, л. 33, 39], «АН также не имеет санаториев, подходящих для нас с женой с учетом нашего возраста и состояния здоровья» [6, л. 41]. Причину плохого уровня санаторного дела в АН СССР И. М. Майский видел в недостаточном контроле Президиума за состоянием дел и в том, что санаториями АН СССР занимался аппарат. Тем не менее, по мере утраты актуальных политических рычагов и свежих знакомств в партийной номенклатуре, И. М. Майский терял материальные привилегии: в конце 1960-х ему не только не давали выбрать лучшие номера в санаториях, но и вообще

отказывали в путевках, что И. М. Майский пытался решить уже через письма Президенту Академии наук М. В. Келдышу. Во время очередной попытки прикрепиться к кремлевской больнице, И. М. Майский даже посылал подарок – книгу «Россию во мгле» Г. Уэллса с собственным предисловием – главе 4-го Главного управления при Минздраве Е. И. Чазову, но попытки вновь не увенчались успехом [6, л. 50]. Впрочем, к постоянным резким ответам в официальных письмах 4-го Главного управления при Минздраве СССР [6, л. 56–68], И. М. Майский привык, и не считал их итоговым решением, продолжая переписку и заручаясь каждый раз поддержкой новых статусных знакомых. Стратегия получения доступа к материальным благам через использование связей в номенклатуре, которую использовал И. М. Майский, хотя и была одной из типичных, далеко не всегда гарантировала успех.

Санаторная повседневность в эго-документах советских историков

Повседневная жизнь первых советских санаториев системы Академии наук в 1920-е гг. принципиально отличалась от ежедневного советского быта, полного забот и переживаний. После получения путевки/курсовки на отдых и лечение, ученые самостоятельно добирались до санатория (как правило, на юг отправлялись на поезде, а в санаторий «Узкое» вела только автомобильная дорога). Обычно путевки выдавались на 24 дня [2, л. 6], но в дома отдыха (как, например, в санаторий в Узком) можно было приезжать и на несколько дней [15]. Типичный распорядок дня на курорте был описан М. В. Нечкиной: после подъема в 7-7-30 перед комнатой ставили кефир, «после чего жду в длинном хвосте умываться. (...тут уборная как у людей... лучше, чем у нас на Арбате) и бегу на почту за газетой. Оттуда в цекубу завтракать, его дают в 8,5 часов. После иду домой прибирать комнату» (М. В. Нечкина предпочитала убираться сама, а не дожидаться уборщицу, проблемы с уборкой отдельно отмечались в письме). «После этого я пишу письма (...) и брожу по ближним окрестностям (...)». После обеда «опять болтаюсь с комнатой, прибираюсь, пишу письма, а вчера ходила одна по горе в березовую рощу. В 4 часа чай, после него гуляла на реку с компанией. (...) После 8 вечера ужин, чуточку болтаюсь у террасы, чтобы видеть, не будет ли кто петь, и если нет, то ухожу к себе с фонариком (...). Заваливаюсь спать в 9 часов!» [8, л. 72(об)–73]. Санаторий воспринимался именно как место отдыха, а не оздоровления: оздоровительные процедуры становились предметом шуток и фольклора. М.В. Нечкина приводила такую частушку, бытовавшую в санатории в Теберде [8, л. 74]:

*На углу стоит девчонка –
Лопает морожено.
Оказалось, старушонка,
Только омоложена!*

Совместный отдых в течение нескольких недель сближал отдыхающих: возникали не только романы, но и крепкие деловые и дружеские отношения. (Так, например, в Теберде в 1928 г. М. В. Нечкина познакомилась с главой ЦЕКУБУ А. Б. Халатовым [8, л. 92], к которому сочла возможным обратиться за поддержкой в период разногласий с ее учителем М. Н. Покровским [7, л. 7–10]).

Несмотря на некоторые бытовые проблемы санаториев (ежеутренние очереди в уборную, перебои с водой [6, л. 11]), отдыхающая интеллигенция видела и осознавала разительный контраст между своим образом жизни и образом жизни местного населения (как работников санатория, так и просто местных крестьян). В письмах М. В. Нечкиной эта разница видна через забавные, по ее мнению, анекдоты о местных жителях, которые она пересказывает мужу («Халатов говорил с каким-то карачаевцем, как ему живется. Тот ответил: «плохо живется – хозяйство плохой, жена нет, один корова есть, да и тот бык» [8, л. 92]). Совсем иначе относился к этому

контрасту С. А. Пионтковский: «отъедешь верст 15-20 от Кисловодска и совсем попадешь уже в первобытные дебри» [21, с. 99], «на даче ВЦИКа, как в палатах: кругом жрать нечего, а у них на каждого отдельный стол» [21, с. 358].

В 1920-1940-е гг. развлекательная программа научных санаториев была полностью организована силами отдыхающих: по вечерам ученые читали лекции, для всех желающих по своей области исследования [26, с. 70–74], делились воспоминаниями о молодости [12, с. 298–300], устраивали вечера, на которых пели песни и декламировали стихи, играли в шарады [21, с. 358]. Так, например, санаторий в Узком выделял деньги на досуг отдыхающих только на показ кинофильмов [4, л. 19]. Отдыхающие по желанию занимались спортом: летом – спортивными играми, зимой – лыжами, катанием с гор на санях [15]. Почти ежедневно отдыхающие устраивали пешие походы на природу и, изредка, если была возможность договориться о транспорте, выезжали смотреть природные достопримечательности (такая форма отдыха была распространена в санаториях на Кавказе [21, с. 358; 8, л. 72(об.)–73; 6]). Атмосфера отдыха и веселья в санаториях создавалась, в первую очередь, силами самих отдыхающих. Многие воспоминания о санатории в Узком фиксировали создание в конце 1920-х – начале 1930-х гг. «Санузской республики» [13] (название произошло от сокращения «санаторий Узкое» [12, с. 297]) – шуточного государства отдыхающих со своими традициями и развлечениями. Видимо, так здесь проявлялась типичная для советских детей [10] и молодежи [9, с. 40–43] форма проведения коммунального досуга 1920-х через создание воображаемых утопических государственных образований, необычным было скорее то, что в Узком в эту игру с удовольствием играли люди взрослые и регулярно занятые интеллектуальным трудом. Тем не менее, отдыхающие с удовольствием решали в «игровой форме» вопросы внутренней дисциплины санатория и самостоятельной организации досуга. Хотя санаторная жизнь отвлекала ученых от повседневных проблем, нельзя думать, что санаторий помогал забыть от невзгод: С. А. Пионтковский, репрессированный и расстрелянный в 1937 году, так описывал свой досуг в Кисловодском санатории на протяжении всего месяца отдыха в 1929 году: «гулял по парку, был в театре, побаивался чистки» [21, с. 270]. Атмосфера санаториев носила все менее беззаботный характер. К 1937 году шуточная республика «Санузия» полностью прекратила свое существование [15].

Санатории Академии наук, созданные по инициативе ЦЕКУБУ, стали одной из важнейших материальных привилегий научных работников в СССР. В отличие от коллег-физиков, ученые-гуманитарии 1920-х – 1930-х гг. не могли мечтать о поездке на отдых за границу, поэтому путевка в советский санаторий системы ЦЕКУБУ (а позднее, АН СССР) виделась им наилучшей возможностью испытать на себе «буржуазный отдых», отвлечься от бытовых и профессиональных проблем, предаться воспоминаниям в кругу старых друзей и профессиональных единомышленников. Тем не менее, контингент санаториев АН СССР не ограничивался научными работниками и членами их семей. Особый статус этих санаториев, их «элитарность», неповторимая атмосфера интеллектуального общения заставляли и представителей иных профессий стремиться именно в эти дома отдыха. Возможность «достать» путевку в специализированный санаторий или дом отдыха для научных работников или, напротив, способность как-либо пролоббировать интересы санатория в органах власти становились ценными активами советской неформальной экономики, способом получения других ценных услуг.

Список источников и литературы

1. Академик С. Ф. Платонов: Переписка с историками. В 2 т. М.: Наука, 2003. Т. 1. 386 с.

2. Архив Российской академии наук (РАН). Ф. 2. Оп. 1. Д. 60.
3. РАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 42.
4. РАН. Ф. 4. Оп. 2. Д. 75.
5. РАН. Ф. 350. Оп. 1. Д. 548.
6. РАН. Ф. 1702. Оп. 2. Д. 121.
7. РАН. Ф. 1820. Оп. 1. Д. 418.
8. РАН. Ф. 1820. Оп. 1. Д. 452.
9. Гаген-Торн Н. И. Методы: воспоминания, рассказы. М.: Возвращение, 2009. 400 с.
10. Димке Д. В. Советские детские игры: между утопией и реальностью // Антропологический форум. 2012. № 16. С. 309–333.
11. Долгова Е. А. Власть, ЦЕКУБУ и творческая интеллигенция в социально-экономических обстоятельствах 1920-х гг.: позиции, статусы, декорации // Обсерватория культуры. 2018. № 15 (1). С. 119–127.
12. Кареев Н. И. Прожитое и пережитое. Л., 1990. 382 с.
13. Кареев Н. И. Прощание с Санузией 42 поколения // Вторая муза историка: неизученные страницы русской культуры XX ст. : [стихи, проза, пер.]. М.: Наука, 2003. С. 24–26.
14. Коварство и любовь [Видеозапись] // Фитиль : киножурнал. 1965. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=BfpOrj1F9Nc> (дата обращения: 05.04.2020).
15. Коробко М. Ю. Усадьба Узкое: историко-культурный комплекс XVII–XX веков. М., 1996. 211 с. ; то же [Электронный ресурс] // РусАрх: [сайт]. URL: <http://www.rusarch.ru/korobko1.htm> (дата обращения: 05.04.2020).
16. Коровин Е. А. Зачем существует ЦЕКУБУ? // Вечерняя Москва. 1930. 8 янв. (№ 6). С. 2.
17. Кузнецова Л. А. «Известную помощь имею крепкую»: патронаж в системе советского администрирования // Петербургский исторический журнал. 2019. № 2. С. 117–132.
18. Кузнецова Л. А. Гендерные аспекты курортного отдыха в СССР // Вестник Пермского университета. Серия: История. 2011. Вып. 3 (17). С. 81–85.
19. Кузнецова Л. А. Курортное строительство в 1920-е–1950-е гг.: вопросы организации и управления // Труды Института российской истории. М., 2014. Вып. 12. С. 244–263.
20. Орлов И. Б., Юрчикова Е. В. Массовый туризм в сталинской повседневности. М.: РОССПЭН, 2010. 224 с.
21. Пионтковский С. А. Дневник историка С. А. Пионтковского, (1927–1934). Казань: Казан. гос. ун-т, 2009. 516 с.
22. Постановление СНК СССР «Об образовании при Совете народных комиссаров Союза ССР Комиссии содействия ученым» (СЗ СССР 1931 г. № 26, ст. 212) // Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства СССР. М., 1931. С. 368–369.
23. Пришвин М. М. Дневники. 1930–1931. Кн. 7. СПб.: Росток, 2006. 704 с. ; то же [Электронный ресурс] // Михаил Пришвин : [сайт]. URL: <http://prishvin.lit-info.ru/prishvin/dnevnik/dnevnik-otdelno/1930.htm> (дата обращения: 05.04.2020).
24. Пушкарева Н. Л. Когда зарплаты были большими: материальное поощрение советских ученых в 1921–1953 гг. // Российская история. 2016. № 6. С. 69–82.
25. Пушкарева Н. Л. «Содействие ученым» в Советской России 1917–1941 гг. (к истории повседневности научных работников в довоенное время) // Город и горожане в Советской России 1920–1930-х гг.: мир эмоций и повседневных практик. Краснодар, 2017. С. 318–344.

26. Санаторий им. А. М. Горького РАН в Кисловодске (1923-2008) : [сб. статей] / Рос. акад. наук, Ин-т истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова ; [сост. Ю. Ю. Черный и др.]. М., 2012. 271 с.
27. Тимашев Н. С. Походъ противъ ЦЕКУБУ // Возрождение. 1930. Т. 5, № 1694, 21 янв. С. 4.
28. Хабибрахманова О. А. Властные стратегии и тактики по улучшению качества жизни научной интеллигенции 1920-1930-х годов. Казань, 2008. 116 с.
29. Центральный государственный архив города Москвы. Ф. Л-125. Оп. 1. Д. 28, 29.
30. Шальнев Е. В. Организация комиссии по улучшению быта ученых // Научный вестник. Пенза: ГУМНИЦ, 2010. С. 79–86.
31. Шутц И. И. Дневник «великого перелома» (март 1928 – август 1931). Paris: YMSA-Press, 1991. 325 с.

References

1. Akademik S. F. Platonov: Perepiska s istorikami: v 2-kh t. Tom 1 [Academician S. F. Platonov: Correspondence with historians: In 2 vols. Vol. 1]. Moscow: Nauka Publ., 2003. 388 p. [In Russian].
2. Arkhiv Rossiyskoy akademii nauk [The Archive of the Russian Academy of Sciences (RAS)] Fund 2. Inventory 1. File 60. [In Russian].
3. Arkhiv Rossiyskoy akademii nauk [The Archive of the Russian Academy of Sciences (RAS)]. Fund 4. Inventory 1. File 42. [In Russian].
4. Arkhiv Rossiyskoy akademii nauk [The Archive of the Russian Academy of Sciences (RAS)] Fund 4. Inventory 2. File 75. [In Russian].
5. Arkhiv Rossiyskoy akademii nauk [The Archive of the Russian Academy of Sciences (RAS)] Fund 350. Inventory 1. File 548. [In Russian].
6. Arkhiv Rossiyskoy akademii nauk [The Archive of the Russian Academy of Sciences (RAS)] Fund 1702. Inventory 2. File 121. [In Russian].
7. Arkhiv Rossiyskoy akademii nauk [The Archive of the Russian Academy of Sciences (RAS)] Fund 1820. Inventory 1. File 418. [In Russian].
8. Arkhiv Rossiyskoy akademii nauk [The Archive of the Russian Academy of Sciences (RAS)] Fund 1820. Inventory 1. File 452. [In Russian].
9. Gagen-Thorn N. I. Memoria: vospominaniya, rasskazy [Memoria memories, stories]. Moscow: Vozvrashcheniye Publ., 2009. 400 p. [In Russian].
10. Dimke D. V. Sovetskiye detskiye igry: mezhdutopiiy i real'nost'yu [Soviet children's games: between utopia and reality]. *Antropologicheskij forum*, №16 [Forum for Anthropology and Culture. Issue 16]. 2012. Pp. 309–332. [In Russian].
11. Dolgova E. A. Vlast', TSEKUBU i tvorcheskaya intelligentsiya v sotsial'no-ekonomicheskikh obstoyatel'stvakh 1920-kh gg.: pozitsii, statusy, dekoratsii [The government, the central commission for improving the life of scientists, and the creative intelligentsia in the socio-economic circumstances of the 1920s: positions, statuses, decorations]. *Observatoriya kul'tury* [Observatory of Culture]. Issue 15 (1). 2018. Pp.119–127. [In Russian].
12. Kareev N. I. Prozhitoye i perezhitoye [Lived and Experienced]. Leningrad: SPbU Publ., 1990. 382 с. [In Russian].
13. Kareev N. I. Proshchaniye s Sanuziye 42 pokoleniya (I, II) [Farewell to Sanusia 42 generations (1, 2)]. *Vtoraya muza istorika: Neizuchennyye stranitsy russkoy kul'tury XX stoletiya: (Stikhi, proza, per.)* [The second muse of the historian: Unstudied pages

- of Russian culture of the 20th century: (Poems, prose, transl.)*]. Moscow: Nauka Publ., 2003. Pp. 24–26. [In Russian].
14. Kovarstvo i lyubov' [Scheming and Love]. *Kinozhurnal «Fital'» [Newsreel "Fital"]*, 1965. Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=BfpOrj1F9Nc> (accessed: 05 April 2020). [In Russian].
15. Korobko M. Yu. *Usad'ba Uzkoje: istoriko-kul'turnyy kompleks XVII-XX vekov [The Uzkoje estate: a historical and cultural complex of the 17th-20th centuries]*. Moscow: 1996. Available at: <http://www.rusarch.ru/korobko1.htm> (accessed: 05 April 2020). [In Russian].
16. Korovin E. A. Zachem sushchestvuyet TSEKUBU? [Why does TSEKUBU (the central commission for improving the life of scientists) exist?]. *Vechernyaya Moskva*. Issue 6. 8 January 1930. P.2. [In Russian].
17. Kuznetsova L. A. «Izvestnuyu pomoshch' imeyu krepkuyu»: patronazh v sisteme sovetskogo administrirovaniya [«I get good help»: patronage and the soviet management system]. *Peterburgskii istoricheskii zhurnal. № 2 [Petersburg historical journal. Issue 2]*. 2019. Pp.117–132. [In Russian].
18. Kuznetsova L. A. Gendernyye aspekty kurortnogo otdykha v SSSR [Gender aspects of resort recreation in the USSR]. *Vestnik Permskogo universiteta. Ser. Istoriya. Vyp. 3 (17) [Perm University herald. History. Issue 3 (17)]*. 2011. Pp. 81–85. [In Russian].
19. Kuznetsova L. A. Kurortnoe stroitel'stvo v 1920-1950 gg.: voprosy organizatsii i upravleniya [The resort construction in the 1920s-1950s: issues of organization and management]. *Trudi Instituta rossiiskoi istorii*. Issue 12. Moscow: 2014. Pp. 244–263. [In Russian].
20. Orlov, I. B., Iurchikova, E. V. *Massovyyi Turizm v Stalinskoi Povsednevnosti [Mass tourism in the everyday life of the Stalin period]*. Moscow: ROSSPEN Publ., 2010. 224 p. [In Russian].
21. Piontkovsky S. A. *Dnevnik istorika S. A. Piontkovskogo (1927-1934). [Diary of a historian S. A. Piontkovsky (1927-1934)]*. Kazan: Kazan State University Publ., 2009. 516 p. [In Russian].
22. Ob obrazovanii pri Sovete narodnykh komissarov Soyuza SSR Komissii sodeystviya uchenym: postanovleniye SNK SSSR [On education, by the Commission for Assistance to Scientists under the Council of People's Commissars of the USSR: Resolution of the Council of People's Commissars of the USSR]. *Sobraniye zakonov i rasporyazheniy Raboche-Krest'yanskogo Pravitel'stva SSSR. № 26: 10 maya 1931. g. Otd. 1, st. 212. [Collection of laws and regulations of the Workers 'and Peasants' Government of the Union of Soviet Socialist Republics. Issue 26: 10 May 1931. Div. 1, art. 212]*. Moscow: SNK SSSR and Council of Labor and Defense Publ., 1931. Pp. 368–369. [In Russian].
23. Prishvin M. M. *Dnevniki. 1930-1931. Kn. 7 [Diaries. 1930-1931. Book. 7]*. St Petersburg: Rostok Publ., 704 p., 2006. Available at: <http://prishvin.lit-info.ru/prishvin/dnevniki/dnevniki-otdelno/1930.htm> (accessed: 05 April 2020). [In Russian].
24. Pushkareva N. L. *Kogda zarplaty byli bol'shimi: material'noye pooshchreniye sovetskikh uchenykh v 1921-1953 gg [When salaries were high: material incentives for Soviet scientists in 1921-1953]*. *Rossiyskaya istoriya*. Issue 6. 2016. Pp 69–82. [In Russian].

25. Pushkareva N. L. «Sodeystviye uchenym» v Sovetskoy Rossii 1917-1941 gg. (k istorii povsednevnosti nauchnykh rabotnikov v dovoynnoye vremya) ["Assistance to Scientists" in Soviet Russia in 1917–1941 (to the history of everyday life of scientific workers before the war)"]. *Gorod i gorozhane v Sovetskoy Rossii 1920-1930-kh gg.: mir emotsiy i povsednevnykh praktik: sb. nauch. st. [The collection of articles: The city and townspeople in soviet Russia 1920-1930s: the world of emotions and everyday practices]*. Krasnodar: 2017. Pp. 318–344. [In Russian].
26. *Sanatoriy im. A. M. Gor'kogo RAN v Kislovodske (1923-2008): (sb. st.)* [Sanatorium named after Gorky RAS in Kislovodsk (1923-2008). Collection of articles]. Comp. by Cherny Yu. Yu. [et al.]. Moscow: 2012. 271 p. [In Russian].
27. Timashev N. S. Pokhod "protiv" TSEKUBU [Campaign against TSEKUBU]. *Vozrozhdeniye* Vol. 5. Issue 1694. 21 January 1930. P. 4. [In Russian].
28. Khabibrakhmanova O. A. *Vlastnyye strategii i taktiki po uluchsheniyu kachestva zhizni nauchnoy intelligentsii 1920-1930-kh godov [Powerful strategies and tactics to improve the quality of life of the scientific intelligentsia of the 1920s-1930s]*. Kazan: 2008. 116 p. [In Russian].
29. *Tsentrall'nyy gosudarstvennyy arkhiv goroda Moskvy [Central State Archives of the City of Moscow]* Fund Л-125. Inventory 1. File 28, 29. [In Russian].
30. *Shalnev E. V. Organizatsiya komissii po uluchsheniyu byta uchenykh [Organization of a commission for improving the life of scientists]*. Nauchnyy vestnik: sb. nauch. st. Vyp. 5 [Scientific bulletin: collection of scientific articles. Issue 5]. Penza: 2010. Pp. 79–86. [In Russian].
31. Shitz I. I. *Dnevnik «Velikogo pereloma» (mart 1928 – avgust 1931) [Diary of "The Great Turning Point" (March 1928 – August 1931)]*. Paris: YMCA-PRESS, 1991. 325 p. [In Russian].

Сведения об авторе

Секенова Ольга Игоревна –
аспирант Центра гендерных
исследований Института этнологии и
антропологии Российской академии наук
(e-mail: jkzkray@mail.ru).

Information about the Author

Sekenova Olga Igorevna,
PhD student of the Center for Gender Studies
of the Institute of Ethnology and
Anthropology RAS
(e-mail: jkzkray@mail.ru).

ПАМЯТИ ПИСАТЕЛЯ: К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ Л. Н. ТОЛСТОГО

УДК 81'42
ББК 81

Дата поступления статьи: 03.12.2020
Дата решения о публикации: 11.12.2020

ОБРАЗЫ И ДЕТАЛИ ПОВЕСТИ Л. Н. ТОЛСТОГО «ПОЛИКУШКА», ТРАНСЛИРУЮЩИЕ СИМВОЛИКУ ГРАНИЦЫ*

В. И. Абрамова

Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого
(г. Тула, Россия)

Аннотация. Повесть Л. Н. Толстого «Поликушка» наполнена деталями, номинации которых являются в русской лингвокультуре символами границы. Это угол, дверь, лестница, чердак, дорога, люлька, корыто, вода, пряжа. Данную символику поддерживают и транслируют образы повести: заглавный герой (Поликушка), его жена Акулина, грудной ребенок Семка, безымянный кузнец, кривой работник, рекруты Илюха, выкупленный дядей, и Алеха, заменивший его, конь, кошка, петух. Этот ряд дополняют демонологические персонажи, введенные в повествование: летающий змей, ходячий покойник, домовый. Граница, которая мыслится в народной культуре как нечто опасное, словно накладывает трагический отпечаток на судьбы связанных с ней людей: Поликушка повесится, Семка утонет, Акулина сойдет с ума, Алеха добровольно пойдет на государеву службу. Реалистическое произведение Толстого наполняется символическим смыслом. Автор подталкивает читателя к философскому постижению жизни, в которой граница между добром и злом, жизнью и смертью оказывается очень зыбкой.

Ключевые слова: граница, угол, дверь, лестница, чердак, дорога, колыбель, младенец, рекрут.

***Исследование выполнено при поддержке РФФИ (грант № 19-512-18008).**

UDC 81'42
LBC 81

Date of receipt of article: 03.12.2020
Date of publication decision: 11.12.2020

IMAGES AND DETAILS OF L. TOLSTOY'S "POLIKUSHKA" WHICH CONVEY SYMBOLS OF A BOUNDARY*

V. I. Abramova

Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University
(Tula, Russia)

Abstract. L. Tolstoy's "Polikushka" is full of details, whose nominations are symbols of a boundary in the Russian linguoculture. These are a corner, a door, stairs, an attic, a road, a cradle, a tub, water. These symbols are supported and conveyed by the images of L. Tolstoy's work: the title character (Polikushka), his wife Akulina, infant Syomka, nameless smith, crooked worker, recruits Ilyukha, who was redeemed by his uncle, and Alyokha, who replaced him. This row is supplemented by demonological characters introduced into the narration: a flying serpent, a walking deceased, a house spirit. It looks like the boundary, which is conceived in the folk culture as something dangerous. It leaves its tragic mark on the fates of the people related to it: Polikushka will hang himself, Syomka will drown, Akulina will go mad, Alyokha will become a recruit. Tolstoy's realistic work becomes filled with a symbolic meaning. The author

pushes the reader towards philosophic comprehension of life, in which the boundary between good and evil, life and death appears to be very uncertain.

Keywords: *boundary, corner, door, stairs, attic, road, cradle, infant, recruit.*

***The reported study was funded by RFBR, project number 19-512-18008.**

Повесть Л. Н. Толстого «Поликушка» (1863) не часто становилась объектом научных исследований. Большого внимания были удостоены одноименная экранизация произведения, созданная режиссером А. Саниным в 1919 году [3; 13], а также переводы этого текста на другие языки [2; 4]. С литературоведческой точки зрения «Поликушку» Л. Н. Толстого изучали американская и японская исследовательницы (К. Партэ [14], Й. Саканоуэ [5]). Их статьи, посвященные фольклорным мотивам в данной повести, наиболее тематически близки нашей работе. Обращаются к фольклорному образу удавленника, изображенному Толстым, и авторы статьи о народных легендах в литературной обработке Е. Н. Опочинина [12, с. 111]. Действительно, многие образы и детали «Поликушки» связаны с фольклорно-мифологическими представлениями. По нашим наблюдениям, почти все они транслируют в тексте символику границы.

Граница мыслится в славянском фольклоре как «пространственный рубеж, разделяющий “свой” и “чужой” мир» [6, с. 537]. Пограничными локусами являются порог, окно, угол, чердак, подпол, ворота, околица, межа, река, дорога и др. Граница – опасное для человека место, где он с большой вероятностью может быть подвержен нападению темных сил, обитающих в «чужом» мире, «перетянут» ими туда. Таким образом, пространственная граница становится символической границей между жизнью и смертью.

В повести Л. Н. Толстого заглавный герой – дворовый Поликушка – занимает со своей семьей *угол* (курсив Л. Н. Толстого) «в десятиаршинной каменной избе» [11]. *Угол* в русской лингвокультуре символизирует жилье, дом (*иметь / не иметь свой угол, снять угол*) и в этом смысле маркируется положительно. Одновременно данный локатив обозначает точку, наиболее удаленную от центра жилища, «культурную периферию», границу «своего» и «чужого» и соответственно маркируется отрицательно: *углан, зауголок, заугольник* (внебрачный ребенок, дурак, скрытник, развратник); *угловатый* человек (суровый, неуживчивый); *угольничать, заугольничать* (таиться, подстергать, подслушивать) [10, с. 341–342]. Используя в своей повести слово «угол», Л. Н. Толстой совмещает несколько его значений, а также положительную и отрицательную символику: это и жилище, дом, и реальный угол («в каждом углу был отгороженный досками *угол*»), и фольклорное пограничное место, как будто связанное с маргинальностью героя (он «человек незначительный и замаранный, да еще из другой деревни» [11]).

Поликеев угол – крайний к *двери*, еще одной пограничной точке пространства. Дверь воспринималась как выход в чужой, опасный мир. Открытая дверь могла символизировать смерть или несчастье (*Пришла беда – отворяй ворота*) [7, с. 25–26]. Потеряв письмо с деньгами барыни, Поликушка покончит жизнь самоубийством, его ребенок погибнет в результате несчастного случая, а жена сойдет с ума.

Свое страшное намерение – повеситься – Поликушка осуществляет на *чердаке*. Он верно рассчитал, что там ему никто не помешает. Примечательно, что это место также является пограничным локусом дома, отделяя внутреннее пространство от внешнего, освоенное от природного, свое от чужого. По народным поверьям, на чердаке обитают домовые и другие нечистые духи, а души недавно умерших родственников могут стучать и топтать [10, с. 505–507]. Л. Н. Толстой в своей повести отражает эти мифологические представления: «Многие даже слышали, как в эту ночь кто-то все ходил по чердаку тяжелым шагом, и кузнец видел, как змей летел прямо на чердак» [11]. Упомянутый в отрывке змей – это демонологический персонаж восточнославянского фольклора, «ипостась ходячего покойника, который после

смерти является своей жене или любимой женщине» [7, с. 332]. В повести Толстого любовный мотив отсутствует, сохраняется общее представление о нечистом духе.

Присутствие нечистой силы на чердаке ощущали многие: «Старушки эти и странница сами слышали, как только-только прочтется кафизма, так задрожит наверху балка и застонет кто-то. Прочтут: “Да воскреснет бог”, – опять затихнет. Столярова жена позвала куму и в эту ночь, не спамши, выпила с ней весь чай, который запасла себе на неделю. Они тоже слышали, как наверху балки трещали и точно мешки падали сверху» [11].

Символично, как нам представляется, и то, что чердак, соотносясь в русской лингвокультуре с головой человека, может быть связан с темой безумия. О сумасшедшем говорят: «У него чердак без верху; одного стропильца нет» [1]. Как мы уже упоминали выше, разума лишается жена Поликушки Акулина. С этого момента она тоже становится персонажем, образ которого транслирует символику границы (между своим и чужим мирами). По народным представлениям, «безумцы обладают сверхзнанием, даром прозрения и пророчества», а их неадекватные действия воспринимаются «как символическое поведение, за которым скрывается высший смысл» [10, с. 371].

На чердак ведет *лестница*, которая фигурирует в самых трагических эпизодах повествования: «В сенях подле стены была прямая лестница, ведущая на чердак. Поликей, выйдя в сени, оглянулся и, не видя никого, нагнувшись, почти бегом, ловко и скоро взбежал по этой лестнице»; «Вдруг крик ужаса раздался на чердаке, и столярова жена, как сумасшедшая, с закрытыми глазами, на четвереньках, задом, и скорее ко́ том, чем бегом, слетела с лестницы»; «Акулина бросилась на лестницу и, прежде чем успели ее удержать, взбежала и с страшным криком, как мертвое тело, упала на лестницу и убила бы, если бы выбежавший изо всех углов народ не успел поддержать ее» [11]. Лестница в народной культуре символизирует «путь между мирами», переход в другой мир, на тот свет, «осмысливается как способ связи с потусторонним миром» [8, с. 99–101]. Таким образом, лестница – тоже является пограничным локусом.

Еще один локус, символизирующий границу и связанный с сюжетом повести, – *дорога*. В народных представлениях это – мифологически «нечистое» место, где проявляется судьба, доля, удача человека [8, с. 124]. Именно на дороге, соединяющей «свое» и «чужое» пространство, Поликушка потеряет злополучное письмо, а старик Дутлов его найдет. Следует отметить то, что, отправившись в обратный путь из купеческого дома, где он получил барынины деньги, Поликушка встретит на дороге попа. Это событие, по народным поверьям, не сулит человеку ничего хорошего, символизирует неудачу. Широко известна история о том, что Пушкин, собираясь в декабре 1825 года вопреки запрету императора покинуть Михайловское и отправиться в Петербург, встречает на дороге священника и оставляет свое намерение. В повести Толстого попа сопровождает *кривой* работник. Кривизна считалась в народной среде знаком причастности к миру нечистой силы. Кривыми (одноглазыми, косыми, хромыми) являются черт, леший и другие демонологические персонажи [7, с. 674]. Таким образом, на дороге Поликушка получает знаки, предвещающие ему несчастье и переход в стан злых сил.

Граница может быть связана не только с пространством. Символику границы транслируют номинации определенных профессий и занятий. Пограничным персонажем является заглавный герой. Во-первых, Поликушка был *коновалом*, т.е. человеком, который лечит лошадей. В повести о его деятельности говорится следующее: «как-то понемногу стала распространяться репутация его необычайного, даже несколько сверхъестественного коновальского искусства. Он пустил кровь раз, другой, потом повалил лошадь и поковырял ей что-то в ляжке, потом потребовал, чтобы завели лошадь в станок, и стал ей резать стрелку до крови...» [11]. Знахарь, лечащий людей или животных, считался в народной среде сродни колдуну.

Профессия коновала, который в том числе кастрировал животных, препятствуя воспроизводству жизни, обрела рассказы мистического свойства. Примечательно и то, что *конь*, согласно фольклорным представлениям, являлся одним из самых мифологизированных животных, воплощал связи с миром сверхестественного, «тем светом», был проводником в загробный мир [7, с. 590]. Во-вторых, Поликушка был *вором*. В народной демонологии воровство считалось характерным занятием нечистой силы, а если им промышлял человек, воспринималось как род черной магии [7, с. 642–643]. Переход заглавного персонажа повести в нечистые духи становится, таким образом, еще более закономерным.

Жена Поликушки в тот вечер, когда барыня решает дать ему шанс и отправить за деньгами, сидит за *пряжей*. Пряжа в народной культуре имеет семантику жизненного пути, прядение нити воплощает жизнь, судьбу, долю, прялка является одновременно оберегом от зла и атрибутом нечистой силы, образ пряжи соотносится с высшими (Богородица, св. Варвара, Параскева Пятница) и с демонологическими (кикимора, мокоша, домовая, русалка) персонажами [9, с. 328–334, 338]. Таким образом, занятие Акулины тоже связано с неким пограничным состоянием, колдовством. Она словно становится богиней судьбы, определяющей своему мужу несчастную долю.

Летящего на чердак нечистого духа видит *кузнец*. В народной традиции кузнечное ремесло связывалось с колдовством, общением с нечистой силой, чертами. Родственным слову «кузнец» является слово «козни», а одно из значений слова «ковать» – замышлять зло [8, с. 22]. Таким образом, образ кузнеца в толстовской повести также является образом, транслирующим символику границы: это человек, находящийся в силу профессии между мирами (своим и чужим).

Пограничными могут быть определенные периоды в жизни человека. В фольклористике и культурной антропологии существует понятие *лиминальности* (от лат. *limen* – порог), т.е. состояния переходности, в котором пребывают участники обрядов, связанных с жизненным циклом (рождение, взросление, смерть) и важными событиями, предполагающими смену статуса (свадьба, уход в армию). Лиминальными существами являются новорожденные и призраки (души умерших, по какой-то причине задержавшиеся на этом свете), жених и невеста, подростки во время инициации, рекруты.

В повести Л. Н. Толстого присутствует образ *младенца* – младшего сына Поликушки. Он крещен, у него есть имя – Семен, т.е. из *лиминального* состояния (ни дух, ни человек) он уже вышел. Тем не менее, младенец близок к границе, отделяющей свой мир от чужого, из которого, по народным представлениям, он недавно появился. Поэтому ребенок в этот период жизни считается наиболее уязвимым для негативных влияний и воздействия злых сил [8, с. 257]. Младенец Семен из повести Л. Н. Толстого тонет в корыте во время купания, когда его мать узнает о том, что муж повесился. Несколько символических деталей как будто предвещают эту трагедию. Веревку для совершения самоубийства Поликушка отвязывает от *люльки* младенца, словно связывая свою несчастную судьбу с его судьбой: «Два предмета особенно останавливали его беспокойные, лихорадочно-открытые глаза: веревки, привязанные к люльке, и ребенок. Он подошел к люльке и своими тонкими пальцами торопливо стал распутывать узел веревки. Потом глаза его остановились на ребенке; но тут Акулина с лепешками на доске вошла в угол. Ильич быстро спрятал веревку за пазуху и сел на кровать» [11]. Люлька или колыбель в народных представлениях символически соотносится со смертью, обозначая гроб [7, с. 559]. Существует загадка, в которой младенец в колыбели уподобляется покойнику, лежащему в гробу: «Дом лубяной, хозяин немой». Таким образом, соприкоснувшись с младенцем и люлькой, Поликушка взаимодействует со смертью. Символично и то, что младенец погибает в корыте. В подблюдных песнях этот предмет тоже обозначает гроб, предвещая смерть: «Стоит корыто, другим накрыто». Соотносится со смертью и

вода, в которой тонет маленький Семка: «водное пространство осмыслялось как граница между этим и тем светом, путь в загробный мир, место обитания нечистой силы и душ умерших» [6, с. 386]. Не случайно ритуальное омовение было необходимым элементом семейных обрядов. Через него должны были пройти все лиминальные существа: новорожденный, невеста, покойник.

Умерев не своей смертью, Поликушка превращается в «ходячего» покойника – существо лиминальное, находящееся на границе этого и того света [9, с. 119]. Он является висельником – самым нечистым из всех «заложных» (умерших неестественной смертью) покойников. Согласно народным верованиям, висельник надевает на себя петлю «по наущению или прямо с помощью дьявола» и после смерти становится членом «нечистой рати» [6, с. 378]. Как и полагается подобному демонологическому персонажу, он пугает людей, вредит им: «Вдруг старику показалось, что кто-то прошел мимо окна. <...> Собака завывала на задворке, а он шел по сениям, как потом рассказывал старик, как будто искал двери, прошел мимо, стал опять ощупывать по стене, споткнулся на кадушку, и она загремела. И опять он стал ощупывать, точно скобку искал. Вот взялся за скобку. У старика дрожь пробежала по телу. Вот дернул за скобку и вошел в человеческом образе. Дутлов знал уже, что это был он. Он хотел сотворить крест, но не мог. Он подошел к столу, на котором лежала скатерть, сдернул ее, бросил на пол и полез на печь. Старик знал, что он был в Ильичовом образе. Он оскалился, руки болтались. Он взлез на печку, навалился прямо на старика и начал душить» [11]. Действия призрака напоминают действия *домового*, который по ночам может душить людей, предсказывая добро или худо. Одно из прозвищ *домового* – *хозяин*, поскольку он следит за домом и скотиной, соотносится с главой семьи. *Лихой* («чужой») *домовой* может мучить и морить домашних животных. Также нелюбимую скотину не жалуется «свой» *домовой*. Эти представления отражены у Толстого: «Дед встал, поднял окно; на улице было темно, грязно; передок стоял тут же под окном. Он босиком, крестясь, вышел на двор к лошадям: и тут было видно, что *хозяин* приходил. Кобыла, стоявшая под навесом у обреза, запуталась ногой в повод, просыпала мякину и, подняв ногу, закрутив голову, ожидала хозяина. Жеребенок завалился в навоз» [11]. *Домовой* может иметь облик кота [7, с. 639], а в ногах у Дутлова под утро оказалась кошка: «Что-то зашевелилось по ногам старика. Это была кошка: она спрыгнула на мягкие лапки с печки наземь и стала мяукать у двери» [11]. *Домовой*, как и *ходячий покойник*, является персонажем пограничным, существующим между своим и чужим мирами: он связан с домом, освоенным пространством, и с нечистой силой, обитающей в другом, чужом измерении. Такой же двойственной символикой обладает и образ кошки, которая, по народным поверьям, наделяется различными демоническими функциями [7, с. 637–640].

Спустя небольшое время после ухода призрака кричит *петух*. В народных представлениях он является вещью птицей, наделяемой огненной, солнечной и одновременно хтонической символикой [9, с. 30]. Петух может прогонять нечистую силу, что он и делает в повести Толстого. В то же время петух связывается в народных поверьях со змеем и демонами змеиной природы, из его яйца вылупляются огненный змей и василиск, его облик могут принимать ведьма и черт [9, с. 31]. Таким образом, петух тоже оказывается связанным с границей между миром людей и миром нечистой силы, положительным и отрицательным пространством. Кроме того, кричит петух, прогоняя демонов, перед рассветом – пограничным между ночью и утром временем суток.

Призрак, ушедший незадолго до петушиного крика, не случайно посещает старика Дутлова. По воле барыни найденные на дороге роковые деньги остаются у него. С помощью этих денег Дутлов может откупить от рекрутчины своего племянника, но старик не торопится совершить благое дело. Только появление страшного гостя заставляет его переменить намерение. Так трагедия Поликушки

оборачивается счастьем для рекрута и его семьи, которая не потеряет молодого парня, сына, мужа. Символично то, что несостоявшегося новобранца зовут Илюха, а отчество несчастного Поликушки, которое в крестьянской среде часто заменяло имя, – Ильич. Эти два персонажа словно обменялись в повествовании долей и недолей, счастьем и несчастьем и оказались неразрывно связанными друг с другом.

Примечательно, что обозначенная с первой страницы повести тема рекрутчины тоже связана с понятием границы. *Рекрут*, как невеста и покойник, является лиминальным существом с переходным статусом – отсюда похоронная и свадебная символика в рекрутском обряде [9, с. 420]. Рекрутом мог бы стать Поликушка, если бы за него не заступилась барыня. Какое-то время в статусе рекрута пребывает Илюха. Рекрутом становится купленный Дутловым парень, Алеха. Оба, Илья и Алексей, в самые напряженные для них моменты повествования ведут себя девиантно, подтверждая лиминальный статус выпавших из своего, правильного, мира людей: «Илья вскочил, ударил кулаком в стекло и закричал во всю мочь <...> бросился к другому окну, чтоб и то разбить. <...> закатив глаза, подступил с сжатым кулаком к Дутлову <...> Илья, со спутанными волосами, с бледным лицом и вздернутой рубахой, оглядывал комнату, как будто старался вспомнить, где он»; «Рекрут, казалось, не видал никого, но чувствовал, что дивившаяся на него публика все увеличивается, и это придавало ему силы и ловкости. Рекрут плясал бойко. Брови его были нахмурены, румяное лицо его было неподвижно; рот остановился на улыбке, уже давно потерявшей выражение. <...> Торговка с закусками стояла в толпе. Алеха увидел ее, выхватил у ней лоток и весь высыпал в телегу. <...> Алексей-рекрут стоял посередине дороги и, стиснув кулаки, с выражением ярости на лице, ругал мужиков что было мочи» [11].

Итак, рассмотренные нами образы и детали повести Л. Н. Толстого – Поликушка, Акулина, Илюха, Алеха, кузнец, младенец, конь, кошка, петух, угол, дверь, лестница, чердак, дорога, покойник, домовая, люлька, вода, – транслируют символику границы, что оказывается непосредственно связанным с сюжетом произведения о жизни и смерти, добре и зле, трагических событиях в крестьянской среде. Заглавный герой все время находится на грани честного и бесчестного существования, счастья и несчастья, взлета и падения. На грани оказываются и другие персонажи, так или иначе связанные с ним: жена, ребенок, рекрут. Трагическая развязка жизни Поликушки и беды его семьи словно предопределены этим существованием на границе, поддерживаются элементами произведения, транслирующими данную символику. Падение на темную сторону, в небытие, безумие, неизбежно. Одновременно происходит и попадание на другую, светлую сторону: неожиданное спасение Илюхи от тяжелой и долгой воинской службы. Но финал произведения, формально счастливый, наполнен горечью, навеянной судьбами Поликушки и Алехи. Толстой не только показывает читателю тяготы жизни простых крестьян, но и выводит его на широкое философское обобщение: граница между жизнью и смертью, удачей и неудачей, счастьем и несчастьем очень тонкая, легкопроходимая и нужно быть готовым к этому.

Список источников и литературы

1. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка [Электронный ресурс]. 2008–2017. URL: <http://slovardalja.net/word.php?wordid=42966> (дата обращения: 20.08.2020).
2. Исмаилова З. С. Лексическое взаимодействие русского и лакского языков в художественном тексте (на материале повестей Л. Н. Толстого «Два гусара» и «Поликушка» на лакском языке) // Известия Дагестанского

- государственного педагогического университета. Общественные и гуманитарные науки. 2011. № 1. С. 63–65.
3. Райхлина Е. Л. Герои повестей «Отец Сергей» и «Поликушка» Л. Н. Толстого в пространстве немого кинематографа // Вестник Псковского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2018. № 7. С. 49–52.
 4. Рустамова Г. Р. Перевод рассказа Л. Толстого «Поликушка» Н. Бектошем на таджикский язык // Вестник Педагогического университета. 2015. № 6-2. С. 187–191.
 5. Сакановэ Й. Фольклорные мотивы в повести Л. Н. Толстого «Поликушка» // Бюллетень Японской ассоциации русистов. 2003. № 35. С. 67–72.
 6. Славянские древности: этнолингвистический словарь. В 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого; Ин-т славяноведения РАН. М.: Междунар. отношения, 1995. Т. 1: А–Г. 584 с.
 7. Славянские древности: этнолингвистический словарь. В 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого; Ин-т славяноведения РАН. М.: Междунар. отношения, 1999. Т. 2: Д–К. 702 с.
 8. Славянские древности: этнолингвистический словарь. В 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого; Ин-т славяноведения РАН. М.: Междунар. отношения, 2004. Т. 3: К–П. 704 с.
 9. Славянские древности: этнолингвистический словарь. В 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого; Ин-т славяноведения РАН. М.: Междунар. отношения, 2009. Т. 4: П–С. 656 с.
 10. Славянские древности: этнолингвистический словарь. В 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого; Ин-т славяноведения РАН. М.: Междунар. отношения, 2012. Т. 5: С–Я. 736 с.
 11. Толстой Л. Н. Поликушка [Электронный ресурс] // Русская виртуальная библиотека. URL: https://rvb.ru/tolstoy/o1text/vol_3/o1text/0024.htm (дата обращения: 13.08.2020).
 12. Федорова Е. А., Ковалева И. Ф. Жанровое содержание народных легенд в литературной обработке Е. Н. Опочинина // Проблемы исторической поэтики. 2018. Т. 16, № 3. С. 101–121.
 13. Юрьева А. В. Кинематографичность повести Л. Толстого «Поликушка» // Филологические чтения ЯрГУ им. П. Г. Демидова. Ярославль, 2017. С. 182–184.
 14. Parthé K. Masking the Fantastic and the Taboo in Tolstoj's "Polikuška" // The Slavic and East European Journal. 1981. Vol. 25. № 1. P. 21–33.

References

1. Dal V. I. *Tolkovyj slovar' zhivogo velikorusskogo yazyka* [The Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language] Available at: <http://slovardalja.net/word.php?wordid=42966> (accessed: 20 August, 2020). [In Russian].
2. Ismailova Z. S. *Leksicheskoye vzaimodeystviye russkogo i lakskogo yazykov v khudozhestvennom tekste (na materiale povestey L. N. Tolstogo «Dva gusara» i «Polikushka» na lakskom yazyke)* [Lexical interaction of the Russian and Lak languages in the literary text (based on the stories of L. N. Tolstoy "Two Hussars" and "Polikushka" in the Lak language)]. *Izvestiya Dagestanskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Obshchestvennyye i humanitarnyye nauki*. 2011. Issue. 1. Pp. 63–65. [In Russian].

3. Raykhlina Ye. L. Geroi povestey «Otets Sergiy» i «Polikushka» L. N. Tolstogo v prostranstve nemogo kinematografa [Characters of Tolstoy`s stories “Otetz Sergiy” and “Polikushka” acting in silent films]. *Vestnik Pskovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Sotsial'no-gumanitarnyye nauki*. 2018. Issue 7. Pp. 49–52. [In Russian].
4. Rustamova G. R. Perevod rasskaza L. Tolstogo «Polikushka» N. Bektoshem na tadzhikskiy yazyk [Translation of L. Tolstoy`s Story "Polikushka" by N. Bektosh into Tajik Language]. *Vestnik Pedagogicheskogo universiteta*. 2015. Issue 6-2. Pp. 187–191. [In Russian].
5. Sakanoue Y. Fol'klornyye motivy v povesti L. N. Tolstogo «Polikushka» [Folklore motives in the story by L. N. Tolstoy "Polikushka"]. *Byulleten' Yaponskoy assotsiatsii rusistov*. 2003. Issue. 35. Pp. 67–72. [In Russian].
6. *Slavyanskiye drevnosti: Etnolingvisticheskiy slovar': v 5 tomakh. [Slavic Antiquities: Ethnolinguistic Dictionary: in 5 volumes]*. Ed. by N. I. Tolstoy; Institute of Slavic Studies of RAS. Moscow: Mezhdunarodnyye otnosheniya Publ., 1995. Vol. 1: А – Г. 584 p. [In Russian].
7. *Slavyanskiye drevnosti: Etnolingvisticheskiy slovar': v 5 tomakh. [Slavic Antiquities: Ethnolinguistic Dictionary: in 5 volumes]*. Ed. by N. I. Tolstoy; Institute of Slavic Studies of RAS. Moscow: Mezhdunarodnyye otnosheniya Publ., 1999. Vol. 2: Д – К. 702 p. [In Russian].
8. *Slavyanskiye drevnosti: Etnolingvisticheskiy slovar': v 5 tomakh. [Slavic Antiquities: Ethnolinguistic Dictionary: in 5 volumes]*. Ed. by N. I. Tolstoy; Institute of Slavic Studies of RAS. Moscow: Mezhdunarodnyye otnosheniya Publ., 2004. Vol. 3: К – П. 704 p. [In Russian].
9. *Slavyanskiye drevnosti: Etnolingvisticheskiy slovar': v 5 tomakh. [Slavic Antiquities: Ethnolinguistic Dictionary: in 5 volumes]*. Ed. by N. I. Tolstoy; Institute of Slavic Studies of RAS. Moscow: Mezhdunarodnyye otnosheniya Publ., 2009. Vol. 4: П – С. 656 p. [In Russian].
10. *Slavyanskiye drevnosti: Etnolingvisticheskiy slovar': v 5 tomakh. [Slavic Antiquities: Ethnolinguistic Dictionary: in 5 volumes]*. Ed. by N. I. Tolstoy; Institute of Slavic Studies of RAS. Moscow: Mezhdunarodnyye otnosheniya Publ., 2012. Vol. 5: С – Я. 736 p. [In Russian].
11. Tolstoy L. N. *Polikushka* [Polikushka] Available at: https://rvb.ru/tolstoy/01text/vol_3/01text/0024.htm (accessed: 13 August, 2020). [In Russian].
12. Fedorova E. A., Kovaleva I. F. Zhanrovoye sodержaniye narodnykh legend v literaturnoy obrabotke Ye. N. Opochinina [The genre content of folk legends in the literary adaptation by E. N. Opochinin]. *Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]*. 2018. Vol. 16. Issue 3. Pp. 101–121. [In Russian].
13. Yur'yeva A. V. Kinematografichnost' povesti L. Tolstogo «Polikushka» [The cinematography of L. Tolstoy's story "Polikushka"]. *Filologicheskiye chteniya YarGU im. P.G. Demidova*. 2017. Pp. 182–184. [In Russian].
14. Parthé K. Masking the Fantastic and the Taboo in Tolstoj's "Polikuška". *The Slavic and East European Journal*. Vol. 25. Issue 1 (Spring, 1981). Pp. 21–33.

Сведения об авторе

Абрамова Вероника Игоревна –
кандидат филологических наук, доцент
кафедры русского языка и литературы
ФГБОУ ВО «Тульский государственный
педагогический университет
им. Л. Н. Толстого»
(e-mail: istinijobraz@mail.ru).

Information about the Author

Abramova Veronika Igorevna,
Candidate of philological Sciences, Associate
Professor of the Department of Russian
language and literature of Tula State
Lev Tolstoy Pedagogical University
(e-mail: istinijobraz@mail.ru).

УДК 81'42
ББК 81

Дата поступления статьи: 03.12.2020
Дата решения о публикации: 11.12.2020

МЫСЛИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАССКАЗЧИКА (НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗА Л. Н. ТОЛСТОГО «МЕТЕЛЬ»)

М. А. Дубова

Государственный социально-гуманитарный университет
(г. Коломна, Россия)

Аннотация. Учитывая возрастающий в филологии интерес к изучению особенностей функционирования языка в рамках антропоцентрической парадигмы, предполагающей исследование человеческого разума, мышления и ментальных процессов, которые с ними связаны, автор посчитал целесообразным посвятить статью анализу лексических средств репрезентации концепта «мыслительная деятельность» рассказчика в произведении Л. Н. Толстого «Метель». Ключевой в повествовании образ рассказчика воссоздается преимущественно за счет глагольных лексем со значением мыслительной деятельности, а также через диалоги с героями произведения, в которых он принимает активное участие путем включения его реплик с помощью речевых глаголов. Мыслительная деятельность рассказчика лексически неоднородна и представлена преимущественно глаголами со значением памяти, знания и мышления. Таким образом, в ходе анализа автор статьи приходит к выводу, что репрезентативная структура концепта «мыслительная деятельность» реализуется в основном лексико-семантическими средствами, к числу которых логично отнести глаголы со значением интеллектуальной и речевой деятельности. Мыслительная деятельность рассказчика выступает средством выражения его мироощущения, а также важным компонентом характеристики его языковой личности.

Как считает автор статьи, лингвистический анализ концепта «мыслительная деятельность» как компонента языковой личности рассказчика позволяет раскрыть комплекс характеристик, составляющих его представление об окружающем мире и оценку происходящих событий.

Акцентируя внимание на функционировании концептуальных лексем, выступающих значимыми компонентами языковой картины мира рассказчика, автор делает выводы об индивидуальном своеобразии его мыслительного процесса на материале конкретного рассказа писателя «Метель».

Ключевые слова: Л. Н. Толстой, «Метель», концепт «мыслительная деятельность», репрезентация, лексические средства, речевые глаголы, мироощущение, языковая личность.

UDC 81'42
LBC 81

Date of receipt of article: 03.12.2020
Date of publication decision: 11.12.2020

MENTAL ACTIVITY OF THE NARRATOR (BASED ON THE STORY OF LEO TOLSTOY "THE SNOWSTORM")

M. A. Dubova

State University of Humanities and Social Studies
(Kolomna, Russia)

Abstract. Given the growing interest in philology in the study of the peculiarities of the functioning of the language within the framework of the anthropocentric paradigm which implies the study of the human mind, thinking and mental processes that are associated with them, the author considered it expedient to devote the article to the analysis of the lexical means of representing the narrator's mental

activity in the work of L. N. Tolstoy "The Snowstorm". The key image of the narrator in the story is recreated mainly through verbal lexemes with the meaning of mental activity, as well as through dialogues with the main characters in which he takes an active part by including his remarks using speech verbs. The mental activity of the narrator is lexically heterogeneous and is represented mainly by verbs with the meaning of memory, knowledge and thinking. Thus, in the course of the analysis, the author of the article concludes that the representative structure of the concept of "mental activity" is implemented mainly by lexical and semantic means among which it is logical to include verbs with the meaning of intellectual and speech activity. The narrator's mental activity acts as a means of expressing his attitude to the world, as well as an important component of the characteristics of his linguistic personality.

According to the author of the article, the linguistic analysis of the narrator's mental activity as a component of his linguistic personality makes it possible to reveal the complex of characteristics that make up his worldview and an assessment of the events taking place.

Focusing on the functioning of conceptual lexemes which are significant components of the narrator's linguistic picture of the world the author draws conclusions about the individual originality of his mental activity based on the material of a specific story of the writer "The Snowstorm".

Keywords: *L. N. Tolstoy, "The Snowstorm", concept "mental activity", representation, lexical means, speech verbs, attitude, linguistic personality.*

Введение

Творчество Л. Н. Толстого давно и прочно вошло в классику даже не отечественной, а мировой литературы. Несмотря на многочисленные прочтения и анализ его произведений учеными-филологами и представителями других областей научного знания, в первую очередь, историков и культурологов, никто не возьмет на себя ответственность сказать, что творческое наследие писателя изучено в полном объеме, что в нем не осталось потенциала для новых исследований, поскольку каждая новая эпоха предлагает свой взгляд на художественную природу произведений классика и своё прочтение его многочисленного наследия.

Особенно актуально эти слова звучат на пороге нового тысячелетия, в XXI веке, когда возможности науки достигли такого уровня, который позволяет расширить рамки отдельной области знаний и осмыслить художественный текст как мультидисциплинарную единицу, предмет изучения разных научных отраслей. Сказанное относится, в том числе и к языку, который, общепризнанно, «функционирует в личностном универсуме, или лингвоперсонологическом пространстве» [7, с. 35]. Говоря об этом, мы имеем в виду, конечно, возможности когнитивной лингвистики – «направления в науке, объектом изучения которого является человеческий разум, мышление и те ментальные процессы и состояния, которые с ними связаны» [6, с. 6]. Не вызывает сомнений утверждение В. А. Масловой о том, что «когнитивный мир человека изучается по его поведению и деятельности, протекающих при активном участии языка, который образует речемыслительную основу любой человеческой деятельности – формирует её мотивы, установки...» [6, с. 8]. «Изучение литературных констант с учетом их ментальной сущности... может осуществляться как междисциплинарное исследование... объединяющим термином, широко используемым современной гуманитарной наукой, является термин "концепт"» [1, с. 4]. Одним словом, в результате действия когнитивных механизмов формируются представления человека о мире, составляющие основу концепта как некой ментальной сущности, «оперативной единицы памяти ментального лексикона, концептуальной системы мозга, всей картины мира, отраженной в человеческой психике» [5, с. 43].

Принимая во внимание сказанное, сформулируем цель нашей статьи, которая состоит в анализе лексических средств репрезентации концепта «мыслительная деятельность» рассказчика в одном из произведений Л. Н. Толстого, написанном в 50-ые годы XIX века. Этот рассказ, как и другие произведения писателя, созданные в эти годы, характеризуется «глубоким и тонким мастерством психологического анализа..., передавать тайные сокровенные мысли и чувства человека» [10, с. 627].

Анализ

В центре нашего исследовательского интереса небольшой по объему рассказ Л. Н. Толстого «Метель», созданный автором в 1856 году, который, как художественное произведение «представляет собой нерасторжимое единство объективного и субъективного воспроизведения реальной действительности и авторского понимания её, жизни как таковой, входящей в художественное произведение и познаваемой в нем, и авторского отношения к жизни» [4, с. 6]. Сюжет этого произведения, композиционно состоящего из одиннадцати главок, довольно прост: автор, от лица которого ведется повествование и, соответственно, мыслительный процесс которого и представляет для нас особый интерес, так как раскрывается наиболее полно и обстоятельно, рассказывает, как *«В седьмом часу вечера я, напившись чаю, выехал со станции, которой названия уже **не помню**, но **помню**, где-то в Земле Войска Донского, около Новочеркасска»* [11, с. 39]. Так начинается рассказ. И, как мы видим, уже в первом предложении присутствует повторяющаяся два раза глагольная лексема со значением воспроизведения в памяти каких-либо фактов и событий, характеризующая мыслительную деятельность рассказчика.

В нашем случае это воспоминание об одной поездке, запомнившейся рассказчику по причине разыгравшейся тогда метели: *«Метель становилась сильнее и сильнее, и сверху снег шел сухой и мелкий»* [11, с. 45]. Таким образом, заглавие рассказа «Метель» является одной из ключевых лексем повествования и одним из объектов мыслительного процесса рассказчика: *«Метель была так сильна, что насили-насили, перегнувшись совсем вперед и ухватясь обеими руками за полы шинели, я мог по колеблющемуся снегу..., пройти те несколько шагов, которые отделяли меня от моих саней»* [11, с. 55]. Все дальнейшее повествование посвящено тому, как в условиях усиливающейся метели путники пытаются добраться до станции, неоднократно сбиваясь с дороги, двигаясь по кругу, теряя надежду выехать хоть к какому-либо человеческому жилью, но в итоге все-таки все завершается благополучно, и они доезжают до станции. Думается, какой интерес может представлять мыслительная деятельность рассказчика в данном произведении, содержание которого составляет путь нескольких человек в метель от станции до станции? На самом деле, если внимательно прочесть рассказ, то мы откроем для себя очень много интересного, в том числе в характеристике языковой личности самого рассказчика, важным компонентом которой является концепт «мыслительная деятельность».

Не вызывает сомнений, что мыслительная деятельность персонажа, как известно, «представляет собой существенный компонент характеристики его языковой личности, отражающий его мировосприятие, формирующий его оценочное отношение к реальности, движущий его поступками» [4, с. 138].

В качестве мыслящего субъекта в произведении Л. Н. Толстого выступает сам рассказчик, от лица которого и ведется авторское повествование. Объектом его осмысления в первых главах произведения является метель, в которую он попал по дороге на станцию и связанные с нею переживания не потерять дорогу, не заблудиться, подтверждением чему являются многочисленные реплики его диалогов. Как известно, «диалог в силу его композиционного строения, позволяет охарактеризовать позицию героя [в нашем случае рассказчика] по тому или иному вопросу не только из его слов, но и из ответных реплик собеседника» [3, с. 101]. Нельзя не согласиться со словами С. И. Кормилова, что «Толстой разворачивает диалоги, изображение связывается с точкой зрения того или иного персонажа, хотя автор с его оценочной позицией всегда возвышается над персонажем» [9, с. 429]. Анализируемый нами рассказ не является исключением. Здесь обилие диалогов предполагается развитием самого сюжета. Действительно, в разыгравшуюся метель, переезжая в санях со станции на станцию, что можно еще делать в дороге: наблюдать

за разыгравшейся стихией, говорить с попутчиками и дремать, окруженный однообразными зимними пейзажами, кстати лексема «сон» также выполняет роль концептуальной и служит для раскрытия языковой личности рассказчика.

Сразу заметим, что первые главы произведения характеризуются наибольшей речевой активностью рассказчика, что в принципе и понятно, так как путь только начался, едущие присматриваются друг к другу и обмениваются репликами по поводу усиливающейся метели. Реплики рассказчика, обращенные к ямщику, Алешке, Игнашке, вводятся в текст всего двумя речевыми глаголами «сказать» в значении «говорить» а именно: «4. с кем обращаясь, разговаривать, вести беседу, разговор» [8, с. 117] и его грамматическими формами: – *Не заблудиться ли нам?* – **сказал** я ямщику [11, с. 39]; – *А теперь ведь не холодно и потише стало,* – **сказал** я [11, с. 41]; *Пускай лошадей, пусть везут назад,* – **сказал** я [11, с. 42]; – *Пошел за ними,* – **сказал** я [11, с. 44]; – *Да, холодно очень становится,* – **сказал** я [11, с. 55]. Как мы видим, глагольная лексема «сказать» употребляется в тексте первых глав сравнительно редко, что говорит о низкой речевой активности рассказчика, отсутствии у него особого желания комментировать происходящее и вступать в беседу с попутчиками. Объектами его разговора является ситуация, в которой он оказался в связи с разыгравшейся непогодой: опасения не сбиться ли с пути, надежды на окончание метели желание добраться до станции. Однако гораздо чаще диалогические реплики рассказчика включаются в текст разными грамматическими формами речевого глагола «спросить» в значении «1. Обратиться к кому-н. с вопросом с целью узнать, выяснить что-н.» [8, с. 659]: – *Да ты скажи лучше, надеешься ли ты довести до станции или нет?* – продолжал я **спрашивать** [11, с. 39]; – *Что? Куда ты? Сбились, что ли?* – **спрашивал** я [11, с. 40]; – *Что же будем делать?* – **спросил** я [11, с. 40]; – *Что, как ты думаешь,* – **спросил** я опять ямщика [11, с. 41]; – *А это что чернеется?* – **спросил** я [11, с. 44]; – *Что же мы будем делать?* – **спросил** я [11, с. 44]; – *Что ты это делаешь?* – **спросил** я [11, с. 60]; – *Что, где мы теперь?* – **спросил** я [11, с. 60]. Активное использование автором данного глагола, на наш взгляд, свидетельствует о том, что основу речевой позиции рассказчика составляет его желание узнать у попутчиков их мнение о происходящей в природе стихии, о возможности добраться до станции в условиях разыгравшейся метели, может быть, услышать от них слова поддержки, обнадеживающие в сложившейся ситуации. Актуализируя местоимение «мы», рассказчик тем самым приобщает себя к персонажам, с которыми он ведет диалог и вместе переживает это происшествие. Кроме того, содержание приведенных реплик характеризует и психологическое состояние рассказчика, в котором явно проступают волнение и тревожность.

Речевая активность первых глав сменяется некоторым чувством безразличия к однообразному снежному пространству; монотонная езда навеивает сон и склоняет к размышлениям, что вполне закономерно актуализирует использование глаголов мысли

Как уже было отмечено выше, существенным компонентом в характеристике языковой личности рассказчика «является его мыслительная деятельность, которая представлена в тексте рассказа группой глаголов мысли» [2, с. 6].

В качестве интегральной выступает сема глагола «думать» в значении «направлять мысли на что-нибудь» [8, с. 156]. В тексте рассказа она представлена следующими глаголами: *Уже, я думаю, около полуночи к нам подъехали старичок и Василий, догнавшие оторвавшихся лошадей* [11, с. 47]; «*Советчик, что всё кричит из вторых саней, какой это мужик должен быть...*», – **думаю** я, – *вроде Федора Филиппыча, нашего старого буфетчика* [11, с. 47]; ... и главное, странно было **думать**, что мы все едем и шибко едем, куда-то прочь от того места, на котором находились [11, с. 56]; «*Неужели это я уже замерзаю,* – **думал** я сквозь сон, замерзание всегда начинается сном, говорят [11, с. 57]. Примечательно, что

глагольная лексема «думать» трижды встречается в середине рассказа (с 5 по 8 главу), так сказать примерно в середине поездки рассказчика, что, на наш взгляд связано с появлением у него мыслей о возможной опасности пути, о наступлении от монотонной езды и однообразного пейзажа полудремотного состояния, которое навеивает сон, описанный в 6 главе рассказа, на что указывают приведенные цитаты.

Наиболее активно мыслительный процесс рассказчика характеризуется глагольными лексемами «помнить» в значении «сохранять, удерживать в памяти; не забывать» [8, с. 483] и «вспомнить» в значении «возобновлять в своей памяти» [8, с. 91], составляющими одну из дифференциальных сем. Прокомментируем их употребление рассказчиком. Как уже говорилось, произведение начинается с двойного повтора глагольной лексемы «помню / не помню» в первом предложении текста: *В седьмом часу вечера я, напившись чаю, выехал со станции, которой названия уже **не помню**, но **помню**, где-то в Земле Войска Донского, около Новочеркасска* [11, с. 39]. И рядом употребляется лексема «вспомнить»: *Мне совестно **вспомнить**, каким громким, пронзительным, даже немного отчаянным голосом я закричал еще раз: «Ямицки!»* [11, с. 42], которые, с одной стороны, сразу определяют форму повествования – воспоминание, а с другой – даже свидетельствуют об эмоциональном состоянии рассказчика (*закричал громким, пронзительным голосом*), попавшего в сильную метель и имеющего все шансы сбиться с пути и замерзнуть в этом снежном океане. Все остальные словоупотребления лексемы «помнить» относятся ко сну рассказчика, описанному в 6 главе произведения, когда, по его собственным словам, *«Воспоминания и представления с усиленной быстротой сменялись в воображении»* [11, с. 49]. Приведем в качестве примера контексты с употреблением данной лексемы: ***Помню** чувство, с которым я, лежа, гляжу сквозь красные колючие стволы шиповника на черную... землю и на просвечивающее ярко-голубое зеркало пруда* [11, с. 49]; ***Помню** чувство, которое мне говорило: «Вот бросься и вытащи мужика, спаси его...* [11, с. 51]; ***Помню** выразившееся на этом лице разочарование ..., и **помню** больное, скорбное чувство, которое я испытал...* [11, с. 53]; ***Помню**, как ярко и жарко пекло солнце сухую, рассыпчатую под ногами землю...* [11, с. 53]. Невольно возникает вопрос, а почему события именного этого дня детства рассказчика всплывают в его памяти во время сна, Самый очевидный ответ – события того летнего дня произвели на него сильное впечатление. И как мы знаем из текста, этих событий было два: первое – это досада от того, почему никто не удивляется тому, «как хорош» [11, с. 50] герой; и второе – смерть мужика, утонувшего в пруду и чувства, возникшие в связи с этим происшествием.

Следующая дифференциальная сема глагола «знать» – «иметь сведения о чем-нибудь» [8, с. 201] – «не знать» соответственно «не иметь сведений о чем-нибудь», сюда же относится глагольная лексема «узнать» – «получить какие-нибудь сведения, знания о чем-нибудь» [8, с. 719] реализуется в следующих контекстах: *... скоро уже я решительно не мог **узнать**, след ли это или просто незаметный слой снега* [11, с. 42]; *... скоро **узнал**, что он земляк мне, тульский, господский, из-под села Кирпичного* [11, с. 43]; – ***Не знаю** (хорошо ли едем), – отвечал я* [11, с. 44]; – *А что, **не знаете**, где мы теперь?* [11, с. 54]; *... мы решительно **не знаем**, где мы и куда ехать, не только на станцию, но куда-нибудь к приюту...* [11, с. 56]; *... я слышу, что впереди звонят два колокола, и **знаю**, что я спасен* [11, с. 59]; *Меня ужасно удивило, что мы ехали целую ночь на одних лошадях двенадцать часов, **не зная** куда и не останавливаясь, и все-таки как-то приехали* [11, с. 61].

Обращает на себя внимание преимущественное употребление глагола «знать» с отрицательной частицей «не». Так, какие же сведения имеет рассказчик, а каких не имеет? Как следует из повествования, он твердо знает, что спасен, и это знание у него появляется в конце поездки, во время же езды он не обладает сведениями, куда они

едут и где они находятся в этом снежном океане, что не может не волновать его и не вызывать множество вопросов.

Таким образом, обобщая все сказанное, можно с уверенностью утверждать, что глаголы со значением мыслительного процесса в рассказе Л. Н. Толстого «Метель» играют важную смыслообразующую роль.

Результаты

Ключевой в повествовании образ рассказчика воссоздается преимущественно за счет глагольных лексем со значением мыслительной деятельности, а также через диалоги с героями произведения, в которых он принимает активное участие путем включения его реплик с помощью речевых глаголов, наиболее частотными среди которых являются «сказать» и «спросить». Мыслительная деятельность рассказчика лексически неоднородна и представлена преимущественно глаголами со значением памяти, знания и мышления, к числу которых относятся глагольные лексемы «думать», «помнить», «вспомнить», «знать», «не знать», «узнать». Таким образом, в ходе анализа автор статьи приходит к выводу, что репрезентативная структура концепта «мыслительная деятельность» реализуется в основном лексико-семантическими средствами, к числу которых логично отнести глаголы со значением интеллектуальной и речевой деятельности. Мыслительный процесс рассказчика позволяет наблюдать особенности реализации индивидуального сознания личности автора, выступает средством выражения его мироощущения, а также важным компонентом характеристики его языковой личности.

Как считает автор статьи, лингвистический анализ мыслительной деятельности рассказчика как компонента его языковой личности позволяет раскрыть комплекс характеристик, составляющих его представление об окружающем мире и оценку происходящих событий.

Заключение

Таким образом, нами были проанализированы лексические средства репрезентации концепта «мыслительная деятельность» рассказчика в небольшом произведении Л. Н. Толстого «Метель», которые, в свою очередь, воссоздают особенности его мыслительного процесса и являются важным компонентом раскрытия его языковой личности. Разнообразие реализуемых сем мыслительных глаголов позволяет сделать выводы об индивидуальных особенностях восприятия действительности рассказчиком.

Список источников и литературы

1. Володина Н. В. Концепты, универсалии, стереотипы в сфере литературоведения : монография. М.: Флинта : Наука, 2016. 256 с.
2. Дубова М. А. Глаголы мысли и их роль в репрезентации языковой личности персонажа (на материале рассказа А. П. Чехова «Три года») // Вестник Государственного социально-гуманитарного университета. Гуманитарные науки. 2017. № 3. С. 6–10.
3. Дубова М. А., Чернова Л. А. Диалог как средство реализации оппозиции «цивилизация – человек» (по повести А. И. Куприна «Молох») // Когнитивная лингвистика: Мироощущение персонажа в русской прозе рубежа XIX-XX вв. : сб. ст., посвящ. 75-летию д-ра филол. наук, проф. Любови Афанасьевны Черновой. Коломна: Моск. гос. обл. соц.-гуманитар. ин-т, 2015. 119 с.
4. Есин А. Б. Принципы и приёмы анализа литературного произведения : учеб. пособие. 7-е изд. М.: Флинта, 2005. 248 с.

5. Кубрякова Е. С., Демьянков В. З., Панкрац Ю. Г., Лузина Л. Г. Краткий словарь когнитивных терминов / под общ. ред. Е. С. Кубряковой. М.: Филол. ф-т МГУ, 1996. 245 с.
6. Маслова В. А. Введение в когнитивную лингвистику: учеб. пособие. 5-е изд. М.: Флинта : Наука, 2011. 296 с.
7. Мельник Н. В. Текстовое моделирование языковой личности. Языковая личность: моделирование, типология, проектирование. Сибирская лингвоперсонология. Ч. 1 / под ред. Н. Д. Голева, Н. Н. Шпильной. М.: ЛЕНАНД, 2014. 640 с.
8. Ожегов С. И. Словарь русского языка: ок. 57000 слов / под ред. чл.-корр. АН СССР Н. Ю. Шведовой. 18-е изд., стереотип. М.: Рус. яз., 1986. 797 с.
9. Русская литература XIX-XX веков. В 2 т. Т. 1: Русская литература XIX века / сост. и науч. ред. Б. С. Бугров, М. М. Голубков. 10-е изд. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2010. 544 с.
10. Русские писатели: библиограф. словарь-справ. для учителя / ред.: Д. С. Лихачев, С. И. Машинский, С. М. Петров, А. И. Ревякин ; [сост. А. П. Спасибенко, Н. М. Гайденков]. М.: Просвещение, 1971. 728 с.
11. Толстой Л. Н. Повести и рассказы. М.: Мир книги : Литература, 2006. 448 с.
12. Чернова Л. А., Дубова М. А. Мыслительная деятельность персонажа (повесть А. П. Чехова «Моя жизнь») // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. 2017. № 1. С. 138–148.

References

1. Volodina N. V. *Kontsepty, universalii, stereotipy v sfere literaturovedeniya: monografiya* [Concepts, universals, stereotypes in the field of literary criticism: monograph]. Moscow, Flinta Publ., Nauka Publ. 2016, 256 p. [In Russian].
2. Dubova M. A. Glagoly mysli i ikh rol' v reprezentatsii yazykovoy lichnosti personazha (na materiale rasskaza A. P. Chekhova «Tri goda») [The verbs of thought and their role in the representation of the character's linguistic personality (based on the story of A.P. Chekhov "Three years)]. *Vestnik Gosudarstvennogo sotsial'no-gumanitarnogo universiteta. Gumanitarnyye nauki*. 2017. Issue. 3 (27). Pp. 6–10. [In Russian].
3. Dubova M. A., Chernova, L. A. Dialog kak sredstvo realizatsii oppozitsii «tsivilizatsiya – chelovek» (po povesti A. I. Kuprina «Molokh») [Dialog as a Means to Implement «Civilization Human» Opposition (Based on the Novel «Moloch» by A. I. Kuprin)] *Kognitivnaya lingvistika: Mirooshchushcheniye personazha v russkoy proze rubezha XIX-XX vv. : sb. st., posvyashch. 75-letiyu d-ra filol. nauk, prof. Lyubovi Afanas'yevny Chernovoy* [Cognitive linguistics: The perception of a character in Russian prose at the turn of the 19th-20th centuries: a collection of articles dedicated to the 75th anniversary of Doctor of Philology, Professor Lyubov Afanasyevna Chernova]. Kolomna: Moscow State Regional Social and Humanitarian Institute Publ., 2015, 119 p. [In Russian].
4. Esin A. B. *Printsipy i priyomy analiza literaturnogo proizvedeniya : ucheb. posobiye 7-ye izdaniye* [Principles and methods of analysis of a literary work: Textbook. 7th ed.]. Moscow: Flinta Publ., 2005, 248 p. [In Russian].
5. Kubryakova E. S., Dem'yankov V. Z., Pankrats Yu. G., Luzina L. G. *Kratkiy slovar' kognitivnykh terminov* [The Brief Dictionary of Cognitive Terms]. Gen. ed. by E. S. Kubryakova. Moscow: 1996, P. 43. [In Russian].
6. Maslova V. A. *Vvedeniye v kognitivnyuyu lingvistiku: ucheb. posobiye. 5-ye izd* [Introduction to Cognitive Linguistics: A Study Guide. 5th ed.]. Moscow: Flinta Publ., Nauka Publ., 2011. 296 p. [In Russian].

7. Melnik N. V. Tekstovoye modelirovaniye yazykovoy lichnosti. [Textual modeling of a language personality] *Yazykovaya lichnost': modelirovaniye, tipologiya, proyektirovaniye. Sibirskaya lingvopersonologiya. Ch. 1 [Linguistic personality: modeling, typology, design. Siberian linguopersonology. Part 1]*. Ed. by N. D. Goleva and N. N. Shpilnaya. Moscow: LENAND Publ., 2014. 640 p. [In Russian].
8. Ozhegov S. I. *Slovar' Russkogo Yazyka: okolo 57000 slov. 18-ye izdaniye, stereotip [Dictionary of the Russian Language: approx 57000 words. 18th ed., stereotype.]*. Ed. by Corresponding Member USSR Academy of Sciences N. Yu. Shvedova. Moscow: Rus. yaz. Publ., 1986. 797 p. [In Russian].
9. *Russkaya literatura XIX-XX vekov. V 2 tomakh. Tom 1: Russkaya literatura XIX veka. 10-ye izdaniye [Russian literature of the 19th - 20th centuries: In 2 volumes. Vol. 1: Russian literature of the 19th century. 10th edition]*. Comp. and scientific. ed. B. S. Bugrov, M. M. Golubkov. Moscow: Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta Publ., 2010. 544 p. Pp. 428–461. [In Russian].
10. *Russkiye pisateli: bibliograf. slovar'-sprav. dlya uchitelya [Russian Writers: Bibliographical Dictionary for Teachers]*. Ed. by D. S. Likhachev, S. I. Mashinsky, S. M. Petrov, A. I. Revyakin; compiled by A. P. Spasibenko and N. M. Gaidenkov. Moscow: Education Publ., 1971. 728 p. [In Russian].
11. Tolstoy L. N. *Povesti i rasskazy [Short stories and tales]*. Moscow: Mir knigi: Literatura Publ., 2006. 448 p. [In Russian].
12. Chernova L. A., Dubova M. A. Myslitel'naya deyatelnost' personazha (povest' A. P. Chekhova «Moya zhizn'») [Character's Train of Thought (based on A. P. Chekhov's short story "My Life")]. *Vestnik Rossiiskogo Universiteta Druzhby Narodov. Seriya: Teoriya Yazyka. Semiotika. Semantika [RUDN Journal of Language Studies Semiotics and Semantics]* 2017. Issue. 1. Pp. 138–148. [In Russian].

Сведения об авторе

Дубова Марина Анатольевна –
доктор филологических наук,
доцент, профессор кафедры
русского языка и литературы
ГБОУ ВО МО «Государственный социально-
гуманитарный университет»
(e-mail: dubovama@rambler.ru).

Information about the Author

Dubova Marina Anatolyevna,
Doctor of Philology, Associate Professor,
Professor of the Department of Russian
Language and Literature at State
Educational Institution of Higher Education
of Moscow Region "State University of
Humanities and Social Studies"
(e-mail: dubovama@rambler.ru).

АНТРОПОМОРФНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ КОД В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ Л. Н. ТОЛСТОГО

Н. А. Кузнецова

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов
(г. Санкт-Петербург, Россия)

Аннотация. Статья посвящена изучению педагогических работ Л. Н. Толстого методами концептуального анализа. Исследование опирается на теорию внутренней формы слова и идею о том, что продуктивность кодов культуры говорит об особенностях языка, а с ним и мышления. В частности, внутренняя форма ключевых слов концепта «Школа» в произведениях писателя строится на базовых образах, которые в свою очередь, соотносятся с культурными кодами. Продуктивность антропоморфного культурного кода свидетельствует об особенностях категоризации и концептуализации мира философом. Специфика функционирования кодов культуры в педагогических сочинениях Л. Н. Толстого выявлялась через сравнение с общенародными метафорами, для чего был проанализирован пласт пословиц и поговорок о школе, учении, образовании.

Ключевые слова: антропоморфный культурный код, Л. Н. Толстой, педагогический дискурс Л. Н. Толстого, концепт, внутренняя форма слова.

ANTHROPOMORPHIC CULTURAL CODE IN LEV TOLSTOY'S PEDAGOGICAL DISCOURSE

N. A. Kuznetsova

St. Petersburg University of Humanities and Social Sciences
(Saint Petersburg, Russia)

Abstract. The article studies L. N. Tolstoy's pedagogical works using the methods of conceptual analysis. The base of the research is the theory of the internal form of the word and the idea that the productivity of cultural codes speaks about the features of language and thinking. In particular, the internal form of the keywords of the concept "School" in the writer's works is based on basic images, which in turn correspond to cultural codes. The productivity of the anthropomorphic cultural code testifies to the features of categorization and conceptualization of the world by the philosopher. The specificity of the functioning of cultural codes in L. N. Tolstoy's pedagogical works reveals through comparison with national metaphors. For this reason, the author analyzed a layer of proverbs and sayings about school, teaching, and education.

Keywords: anthropomorphic cultural code, L. N. Tolstoy, pedagogical discourse of L. N. Tolstoy, concept, internal form of the word.

Проблема изучения языка в тесной связи с человеком затрагивалась еще в лингвистических трудах XIX века. В научных исследованиях последних десятилетий такой подход получил, наконец, свое развитие. В качестве объединяющего начала выступил образ человека, нашедший свое отражение в термине «языковая личность». Именно в личности мы можем увидеть совокупность принципов, характеризующих все фундаментальные свойства языка. Языковая личность – это личность,

выраженная в языке (текстах) и через язык, т.е. личность, выраженная в основных своих чертах на базе языковых средств. При этом важной задачей становится изучение так называемых сильных языковых личностей – поэтов, писателей, социально значимых фигур и т.п., поскольку эти люди, с одной стороны, полно отражают все изменения языковой системы, с другой – способны сами определять её развитие. Так, работы Л. Н. Толстого являются отражением авторского восприятия особенностей действительности XIX века и оказывают значительное влияние на систему ценностей современного общества.

Развитие социума в нынешнем столетии требует новой системы образования – "инновационного обучения", которое формировало бы у обучаемых духовные потребности и нравственные качества, желание творчески мыслить. Как развивать самостоятельность, критическое мышление, способности ребенка? В раздумьях Л. Н. Толстого о новой школе и новой педагогической науке его времени мы находим похожие проблемы. Великий педагог решает их с помощью теории о главенствующей роли личности в образовании и воспитании, свободе и любви. Его идеи, словно ответы на вопросы сегодняшних дней. Изучение педагогических разработок Л. Н. Толстого методами лингвокультурологии, концептуального и дискурсивного анализа предлагают нам свежий, оригинальный взгляд на вопросы современного образования. Тщательное рассмотрение педагогического дискурса писателя поможет выявить скрытые смыслы и значения толстовской теории, столь важные в условия сложившегося кризиса образования.

Концептосфера Л. Н. Толстого – отражение национального образа мыслей. И с этой точки зрения ее рассмотрение ведет к более глубокому пониманию духовной культуры народа. С другой стороны, работы великого философа содержат иной взгляд на привычные ментальные ценности. Новое прочтение идей о школе, возможно, поможет решить проблемы взаимодействия между системой воспитания, развитием личности и социальной обстановкой.

Таким образом, **актуальность работы** объясняется:

- необходимостью изучения текстов культуры, формирующих национальную картину мира;
- пристальным вниманием современной лингвистики к специфике идиостилей отдельных художников слова, составлению тезауруса личности;
- стремлением выявить скрытые смыслы толстовской педагогической теории, важные в условия сложившегося кризиса образования.

Цель работы – проследить продуктивность антропоморфного культурного кода в педагогических работах Л. Н. Толстого.

Поставленная цель определила круг исследовательских **задач**:

- 1) изучить литературу по теме исследования;
- 2) дать рабочую дефиницию понятия «культурный код»;
- 3) рассмотреть особенности функционирования культурных кодов в пословицах и поговорках, посвященных теме обучения;
- 4) выявить специфику осмысления школы Толстым через культурные коды.

Для решения поставленных задач использовались следующие **методы и приемы** исследования: с помощью историко-литературного метода выделялись основные проблемы, темы, направления творчества Л. Н. Толстого; биографический метод позволил проследить генезис педагогических убеждений писателя; для выделения интегральных и дифференциальных семантических признаков ключевых слов, репрезентирующих тему образования, воспитания и школы, использовался компонентный анализ; для выявления содержательных структур концепта использовался концептуальный анализ, описательный метод (приёмы наблюдения, сопоставления, обобщения, типологизации анализируемого материала); анализ синтагматики и парадигматики репрезентантов.

Согласно В. Н. Телия, «код культуры – это таксономический субстрат ее текстов. Этот субстрат представляет собой совокупность окультуренных представлений о

картине мира того или иного социума – о входящих в нее природных объектах, артефактах, явлениях, ментофактах и присущих этим сущностям их пространственно-временных или качественно-количественных измерениях» [5, с. 20].

Исследователи Н. И. Толстой и С. М. Толстая определяют код культуры как «вторичную знаковую систему, использующую разные формальные и материальные средства для кодирования одного и того же содержания, сводимого в целом к “картине мира”, к мировоззрению данного социума» [14, с. 5–14]. Любая культура, по мнению ученых, представляет собой иерархическую систему разных кодов.

В понимании Е. И. Съяновой ономастический код представляет собой «совокупность знаков и систему определенных правил, при помощи которых в контексте народной ономастики представлена культурная информация» [15, с. 233].

Профессор В. В. Красных рассматривает код культуры как «сетку», которую «культура “набрасывает” на окружающий мир, членит, категоризирует, структурирует и оценивает его» [2, с. 232].

Приведенные определения дополняют друг друга, однако некоторые расхождения в понимании термина обуславливают существование различных подходов к выявлению базовых кодов традиционной культуры.

Исследователи выделяют от 4 до 15 кодов культуры. Например, В. В. Красных определяет базовые коды культуры, соотносящиеся с архетипическими представлениями, зафиксированными в русской культуре: соматический (телесный), временной, пространственный, предметный, биоморфный, духовный [2, с. 233].

Косвенные номинации являются одним из наиболее продуктивных средств репрезентации представлений. В основе анализа лежит учение о внутренней форме слова, положение о том, что внутренняя форма слова содержит стереотипы, установки. Внутренняя форма слова обычно определяется как сохранившееся в слове представление о первичном признаке, лежащем в основе понятия. (Точнее было бы определить внутреннюю форму слова как семантическую или структурную соотнесенность лексической или грамматической морфемы слова с другими морфемами данного языка, которая может возникать в представлении говорящих при анализе структуры этого слова) Внутренняя форма слова – это признак, который составляет основу наименования. Этот признак является своеобразным представителем явления или предмета.

В результате обобщения внутренних форм появляется базовый образ. Базовый образ – своеобразный набор признаков – служит для кумуляции мировидения, отражает культурно-национальный опыт лингвокультурной общности. Следующим шагом является соотнесение образа с культурным кодом. «Культурный код – это совокупность символов и знаков культуры, то есть, если рассматривать культуру как пространство, состоящее из элементов, то роль этих элементов играют культурные коды» [8, с. 89].

В. В. Красных указывает, что набор кодов культуры для человечества универсален. «Однако их проявления, удельный вес каждого из них в определённой культуре, а также метафоры, в которых они реализуются, всегда национально детерминированы и обуславливаются конкретной культурой» [2, с. 232].

Культурные коды классифицируются в зависимости от того, каким базовым образом оперирует.

Антропоморфный культурный код продуцирует понимание действительности в форме олицетворения, анимический использует гештальт «растение», акциональный код опирается на базовый образ «действие», фетишный – предмет, биоморфный – на образы животных, насекомых [9].

Поясняя эту идею приведем примеры, используя русские народные пословицы и поговорки, т.к. они содержат знания об образе мышления, характере, менталитете народа. Основными формами языковой экспликации концепта могут быть: 1) лексемы, 2) фразеологизмы (идиомы, пословицы, поговорки, афоризмы),

3) фольклорные и литературные тексты. Они составляют языковую модель концепта. Выявление культурологических особенностей образов, которые заложены в формах языковой экспликации, даёт возможность частично или целиком восполнить недостаток той информации, которая, является главной составляющей концептуальной модели мира, выраженной через языковую модель мира.

Итак, одним из основных действий, с помощью которых происходит осмысление учебной деятельности в пословицах и поговорках, является – *ходить: ученый водит, неученый следом ходить, наука в лес не ходит*. Отражается понимание обучения как процесса, требующего постоянного поиска, некоторых физических затрат. Могут возникать ассоциации с *дорогой жизни*.

Метафора путешествия характерна для концептуализации процесса получения знаний, умений и навыков. Обучение чему-либо ассоциируется с движением по дороге знаний, а разные стадии обучения – с отрезками этого пути. Мы говорим «мы это не проходили», подразумевая – «мы это не изучали». Обучаемый уподобляется путешественнику, который движется по дороге или которого двигает какая-то сила. Согласно метафоре «обучение-путешествие», обучаемый может «переходить» в другой класс или на другой курс. Плохой ученик представляется как «хромающий на обе ноги» или «отстающий». Такому ученику надо помогать, что метафорически передается как «подгонять», «тащить за уши» или «брать на буксир».

Для репрезентации представлений о пишущем человеке используется сцена земледельческих работ: *земля бела, семена черны: пятеро пахут, двое блюдут, один управляет (человек пишущий)*. Таким образом, очень важный для крестьянина земледельческий труд сравнивается с интеллектуальным трудом, обучением, тем самым последнему дается положительная оценка.

Фетишный культурный код предполагает концептуализацию такого параметра, как ум, наука. Умственная деятельность человека, понятие отвлеченное сравнивается с конкретными предметами. Такой подход дает возможность определеннее и яснее выделить свойства непонятного, абстрактного явления: *доброта без ума пуста, наука не пиво, в рот не вольешь*. Ум представляется как предмет, заполняющий какую-то полость, а наука, наоборот, противопоставляется такому веществу.

Концепт «Школа» и его атрибуты реже осмысляются в рамках анимического и антропоморфного культурных кодов. Но все-таки есть сравнения учения с деревом (корень учения горек, а плод его сладок), пера с человеком (голову срезали, сердце вынули, дают пить, велят говорить).

Толстой как концептоноситель вносит индивидуальные смыслы в концепт «Школа», определенные собственным опытом. Одним из главных способов концептостроения в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность» является метафора.

Бахтин писал о сущности метафоры: «В каждом мельчайшем элементе поэтической структуры, в каждой метафоре, в каждом эпитете мы найдем химическое соединение познавательного определения, этической оценки и художественно-завершающего оформления» [16, с. 3].

В метафоре «заключено имплицитное противопоставление обыденного видения мира... необычному, вскрывающему индивидуальную сущность предмета» [1, с. 17].

Одной из наиболее часто употребляемых метафор у Л. Н. Толстого становится метафора замкнутого, пространства, ограничивающего свободу, тюрьма. *(Я начинал надеяться, что наказание мое ограничится заточением, Катенька, Любочка и Володя посмотрели на меня в то время, как St-Jerome за руку проводил меня через залу, точно с тем же выражением, с которым мы смотрели на колодников, проводимых по понедельникам мимо наших окон (Л. Н. Толстой «Юность»), стена (везде школа обстроена кругом китайской стеной книжной мудрости*

(Л. Н. Толстой «Письмо к неизвестному о немецких школах»). Эта же метафора ясно прослеживается в педагогических сочинениях 1861-1862 годов: *Все, что вы видите – это скучающие лица детей, насильно вознанных в училище, нетерпеливо ожидающих звонка и вместе с тем со страхом ожидают вопроса учителя, делаемого для того, чтобы против воли принуждать детей следить за преподаванием, ...и нашу школу, в которой никто не знает, что есть истина, и в которую все-таки насильно ученика заставляют ходить..., ...в школах, строящихся как тюремные заведения, запрещены вопросы, разговоры и движения* (Л. Н. Толстой Педагогические статьи).

Там же находим восприятие школы как болезни. Школа – нечто отрицательное, мешающее нормальному развитию, уродство: *Я говорю, что университеты не только русские, но и во всей Европе, как скоро не совершенно свободны, не имеют другого основания, как произвол, и столь же уродливы, как монастырские школы* (Л. Н. Толстой «Письмо к неизвестному о немецких школах»), *По моим наблюдениям, даже результаты всех этих родов воспитания уродливы* (Л. Н. Толстой «О народном образовании»). *...школы эти вредны для тела, столь неразрывного с душою, ...школы несовершенны (я, со своей стороны, убежден, что они вредны)* (Л. Н. Толстой «О народном образовании»), *Всякий школьник до тех пор составляет диспарат¹ в школе, пока он не попал в колею этого животного существования...как только проявляются в нем симптомы болезни – лицемерие, бесцельная ложь, тупик и т.п. так он уже не составляет диспарат в школе...* (Л. Н. Толстой Письмо к неизвестному о немецких школах).

Такое восприятие школы характерно для раннего творчества (трилогия), первого периода педагогической работы: статьи «Письмо к неизвестному о немецких школах» (1861), «Воспитание и образование» (1862). Можно говорить, что в основу легли детские воспоминания, впечатления от осмотра заграничных заведений, первые попытки работы в качестве педагога.

В работах последних лет не единичными являются уподобления «Школы» религии.

Весьма частотна также персонификация школы – она может двигаться, отвечать, совершенствоваться, влиять на кого-то, быть плохой, хорошей, несостоятельной, у нее есть достоинства, враги и помехи и т.п.: *Но школа не только не возбуждает вопросов, она даже не отвечает на те, которые возбуждены жизнью* (Л. Н. Толстой «О свободном возникновении и развитии школ в народе»), *Весьма обыкновенно слышать и читать мнение, что домашние условия, грубость родителей, полевые работы, деревенские игры и т.п. суть главные помехи школьному образованию...они не только не враги и не помехи школе, но и первые и главные деятели ее, школа не отстанет от всеобщего прогресса, самая лучшая школа XVII века будет самой дурной школой в наше время, школа стоит позади, несостоятельность своих школ, школы историческим путем совершенствуются, бессознательная школа.* (Л. Н. Толстой «Воспитание и образование»).

Школа и ее атрибуты в творчестве Л. Н. Толстого часто осмысляются посредством гештальта «человек», то есть в рамках антропоморфного культурного кода, который продуцирует понимание действительности в форме олицетворения. Как человек школа понимается в своем развитии, а также в отношении внешних, социальных связей. *«Школа развивалась свободно из начал, вносимых в нее учителем и учениками».* Яснополянская школа сравнивается с «любимым ребенком»: *«Учителей четыре, Два старых – уже два года учат в школе, привыкли к ученикам, к своему делу, к свободе и внешней беспорядочности школы. Два учителя новых – оба недавно сами из школы – любители внешней аккуратности,*

¹ Disparate – несоответственность

расписания, звонка, программ и т.п., не вжившиеся в жизнь школы так, как первые. То, что для первых кажется разумным, необходимым, не могущим быть иначе, как черты лица любимого, хотя и некрасивого ребенка, росшего на глазах, - для новых учителей представляется иногда исправимым недостатком» (Л. Н. Толстой «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы»). Процесс длительного преподавания в школе, приверженность ее правилам характеризуется у Толстого как дружба. Школа-человек может иметь своих друзей: «... старые учителя – ...друзья школы...». (Л. Н. Толстой «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы»). В рамках антропоморфного культурного кода понимается все развитие школы. Школа наделяется психическими и физическими качествами человека: «Как всякое живое существо, школа не только с каждым годом, днем и часом видоизменяется, но и подвержена временным кризисам, невзгодам, болезням и дурным настроениям» (Л. Н. Толстой «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы»).

Антропоморфный культурный код используется Толстым для концептуализации таких аспектов школы, как особенности внутренней организации, формирования и развития, внешние, социальные связи. Подобное понимание связано с эмотивным переживанием педагогической деятельности. Школа для писателя не интересное занятие или предмет исследований, а живое существо, человек, друг, ребенок. Подобные характеристики предполагают и определенное отношение к школе: невозможность опытов, насилия над естественным протеканием; необходимы любовь и дружба.

Список источников и литературы

1. Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры / под ред. Н.Д. Арутюновой и М.А. Жирмунской. М.: Прогресс, 1990. С. 5–32.
2. Красных В.В. Этнопсихоллингвистика и лингвокультурология. М.: Гнозис, 2002. 283 с.
3. Кубрякова Е.С. Теория номинации и словообразование // Языковая номинация: Виды наименований. М.: Наука, 1977. С. 222–303.
4. Кубрякова Е.С. Типы языковых значений: Семантика производного слова. М.: Наука, 1981. 200 с.
5. Телия В.Н. Первоочередные задачи и методологические проблемы исследования фразеологического состава языка в контексте культуры // Фразеология в контексте культуры. М., 1999. С. 13–24.
6. Толочко О.В., Слышкин Г.Г. Концепт «отличник» в русской картине мира // Языковая личность: проблемы креативной семантики. К 70-летию профессора И.В. Сентенберг: сб. науч. тр. ВГПУ. Волгоград: Перемена, 2000. С. 79–84.
7. Токарев Г.В. Проблемы лингвокультурологического описания концепта (на примере концепта «Трудовая деятельность»): учеб. пособие. Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2000. 92 с.
8. Токарев Г.В. Концепт как объект лингвокультурологии (на материале репрезентаций концепта «Труд» в русском языке) : монография. Волгоград: Перемена, 2003. 233 с.
9. Токарев Г.В. Лингвокультурология: учеб. пособие. Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2009. 135 с.
10. Толстой Л.Н. Детство // Полн. собр. соч. В 90 т. Т. 1. М. ; Л.: Гос. изд-во худож. лит., 1928. С. 3–97.

11. Толстой Л. Н. Отрочество // Полн. собр. соч. В 90 т. Т. 2. М. ; Л.: Гос. изд-во худож. лит., 1930. С. 3–78.
12. Толстой Л. Н. Юность // Полн. собр. соч. В 90 т. Т. 2. М. ; Л.: Гос. изд-во худож. лит., 1930. С. 79–226.
13. Толстой Л. Н. Педагогические сочинения // Полн. собр. соч. В 90 т. Т. 8, Т. 31, Т. 38. М. ; Л.: Гос. изд-во худож. лит., 1936 – 1954.
14. Толстой Н. И., Толстая С. М. О словаре «Славянские древности» // Славянские древности : этнолингвистический слов. : в 5 т. М., 1995. Т. 1. С. 5–14 ;
15. Сьянова Е. И. Ономастический код в ментальном пространстве диалектоносителей (на материале говоров Воронежского Прихопёрья) : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Сьянова Елена Ивановна. СПб., 2007. 368 с.
16. Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М.: Академ. проект, 2001. 990 с.

References

1. Arutyunova N. D. Metafora i diskurs [Metaphor and Discourse]. *Teoriya metafor [Theory of Metaphor]*. Ed. by N. D. Arutyunova and M. A. Zhirmunskaya. Moscow: Progress Publ., 1990. Pp. 5–32. [In Russian].
2. Krasnykh, V. V. *Etnopsikholingvistika i lingvokul'turologiya [Ethnopsycholinguistics and linguoculturology]*. Moscow: Gnosis Publ., 2002, 283 p. [In Russian].
3. Kubryakova, E. S. Teoriya nominatsii i slovoobrazovaniye [The theories of nomination and word formation]. *Yazykovaya nominatsiya: Vidy naimenovaniy [Language nomination: Types of names]*. Moscow: Nauka Publ., 1977. Pp. 222–303. [In Russian].
4. Kubryakova, E. S. *Tipy yazykovykh znacheniy: Semantika proizvodnogo slova [Types of linguistic meanings. The semantics of the derived word]*. Moscow: Nauka Publ., 1981. 200 p. [In Russian].
5. Telia V. N. *Pervoocherednyye zadachi i metodologicheskiye problemy issledovaniya frazeologicheskogo sostava yazyka v kontekste kul'tury [Priorities and Methodological Problems of the Study of the Phraseological Composition of Language in the Context of Culture]*. *Frazeologiya v kontekste kul'tury [Phraseology in the context of culture]*. Moscow: 1999. Pp. 13–24 [In Russian].
6. Tolochko, O. V., Slyshkin, G. G. Kontsept «otlichnik» v russkoy kartine mira [The concept "A-student" and Russian world image]. *Yazykovaya lichnost': problemy kreativnoy semantiki. K 70-letiyu professora I. V. Sentenberg: sb. nauch. tr. VGPU [Language personality: problems of creative semantics. To the 70th anniversary of Professor I. V. Sentenberg: collection of scientific works of VSPU]*. Volgograd: Peremena Publ., 2000. Pp. 79–84 [In Russian].
7. Tokarev G. V. *Problemy lingvokul'turologicheskogo opisaniya kontsepta (na primere kontsepta «Trudovaya deyatel'nost'»): ucheb. posobiye [Issues of linguoculturological description of the concept (on the example of the concept "Labor"): textbook]*. Tula: Publishing House of Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University, 2000. 92 p. [In Russian].
8. Tokarev G. V. *Kontsept kak ob"yekt lingvokul'turologii (na materiale reprezentatsiy kontsepta «Trud» v russkom yazyke): monografiya [A concept as an object of linguoculturology (based on representations of the concept of "Labor" in Russian): Monograph]*. Volgograd: Peremena Publ., 2003. 233 p. [In Russian].

9. Tokarev G. V. *Lingvokul'turologiya: uchebnik [Linguoculturology: textbook]*. Tula: Publishing House of Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University, 2009. 135 p. [In Russian].
10. Tolstoy L. N. *Detstvo. Poln. sobr. soch. V 90 t. T. 1. [Childhood. Complete works: in 90 v. Vol. 1]*. Moscow - Leningrad: Gos. izd-vo khudozh. lit. Publ., 1928-1958. Pp. 3–97. [In Russian].
11. Tolstoy L. N. *Otrochestvo. Poln. sobr. soch. V 90 t. T. 2. [Boyhood. Complete works: in 90 v. Vol. 2]*. Moscow - Leningrad: Gos. izd-vo khudozh. lit. Publ., 1928-1958. Pp. 3–78. [In Russian].
12. Tolstoy L. N. *Yunost. Poln. sobr. soch. V 90 t. T. 2. [Youth. Complete works: in 90 v. Vol. 2]*. Moscow - Leningrad: Gos. izd-vo khudozh. 1928-1958. Pp. 79–226. [In Russian].
13. Tolstoy L. N. *Pedagogicheskiye sochineniya. Poln. sobr. soch. V 90 t. T. 8, T. 31, T. 38. [Pedagogical works. Complete works: in 90 vol. 8, V. 31, V. 38]*. Moscow - Leningrad: Gos. izd-vo khudozh. lit. Publ., 1928-1958. Pp. 79–226. [In Russian].
14. Tolstoy N. I., Tolstaya S. M. O slovare «Slavyanskiye drevnosti» [About the dictionary "Slavic antiquities"] *Slavyanskiye drevnosti: etnolingvisticheskiy slov. : v 5 t. Vol. 1 [Slavic antiquities: The ethnolinguistic dictionary in 5 volumes: in 5 vols. Vol. 1]*. Moscow, 1995. P. 5–14. [In Russian].
15. Syanova E. I. *Onomasticheskiy kod v mental'nom prostranstve dialektonositeley (na materiale govorov Voronezhskogo Prihopor'ya) : dis. ... kand. filol. nauk : 10.02.01 [Onomastic code in the mental space of dialect speakers (based on the dialects of the Voronezh Prihoporye) : dis. ... Cand. Philol. Sciences : 10.02.01]*. Syanova Elena Ivanovna St. Petersburg: 2007. [In Russian].
16. Stepanov Yu. S. *Konstanty. Slovar' russkoy kul'tury. Opyt issledovaniya [Constants. Dictionary of Russian culture. Research experience]*. Moscow: Akademicheskii proyekt Publ., 2001. 990 p. [In Russian].

Сведения об авторе

Кузнецова Наталья Александровна,
кандидат филологических наук, доцент
кафедры философии и культурологии
Санкт-Петербургского гуманитарного
университета профсоюзов
(e-mail: en.kuz@mail.ru).

Information about the Author

Kuznetsova Natalia Aleksandrovna,
PhD in Philology, Associate Professor of the
Chair of Philosophy and Cultural Studies
of the St. Petersburg University
of Humanities and Social Sciences
(e-mail: en.kuz@mail.ru).

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА

УДК 81'37
ББК 81

Дата поступления статьи: 03.12.2020
Дата решения о публикации: 11.12.2020

СИМВОЛИЗМ СЛОВА КАК РЕЗУЛЬТАТ И ИНСТРУМЕНТ МИФОТВОРЧЕСТВА

С. А. Кошарная

*Белгородский государственный национальный исследовательский университет
(г. Белгород, Россия)*

Аннотация. Традиционные слова-символы возникали в контексте архаичной картины мира, а потому на уровне семантического архетипа они объективируют исторически обусловленное образное основание, выявляющее особенности культурной коннотации. В частности, семантическая перекодировка мифа в художественный или идеологический символ – это процесс приращения смысла, обогащения исходной семантики поэтикой или идеологией. Исходя из этого, слово-символ есть не только синтез означающего и означаемого: оно несет в себе определенную идею, мотив, сюжет (нередко мифологический). В этом смысле символ выступает как результат мифотворчества. Поскольку символы в этнокультуре достаточно постоянны, они служат выполнению культурой кумулятивной функции и единению ее различных хронологических пластов в национально-культурный универсум, что делает символ чрезвычайно востребованным в художественном творчестве, в частности, в поэзии, в контексте которой слово-символ становится элементом своеобразного интертекста, соотносимого с гипертекстом культуры. Однако символическое значение представляет интерес не только как репрезентант архаичных мифологических воззрений: эпоха мифотворчества не заканчивается с переходом к более высокому уровню развития социума, и новый миф генерирует на базе уже существующих свои символы, которые становятся его инструментарием. В этой связи можно говорить о традиционности слова-символа, его взаимосвязи с ключевыми концептами, исходя из чего использование языковых символов опирается на языковую и культурную традицию. Слово-символ зиждется на единстве диахронии и синхронии, и, онтологически пребывая в этом двуединстве, оно может оказывать программирующее воздействие на сознание носителя языка.

Ключевые слова: слово, символ, миф, традиция, диахрония, синхрония, языковое сознание, культурная коннотация, этнокультура.

UDC 81'37
LBC 81

Date of receipt of article: 03.12.2020
Date of publication decision: 11.12.2020

SYMBOLISM OF WORD AS A RESULT AND TOOL OF MYTH-MAKING

S. A. Kosharnaya

*Belgorod State National Research University
(Belgorod, Russia)*

Abstract. Traditional words-symbols appeared in the context of the archaic picture of the world, and therefore at the level of the semantic archetype they objectify the historically conditioned figurative basis, revealing the features of cultural connotation. Based on this, the word-symbol is not only a synthesis of the signifier and the signified: it carries a certain idea, motive, plot (often mythological). In this sense, the symbol appears as a result of myth-making. Since symbols in ethnoculture are quite constant, they serve to perform the cumulative function of culture and the unity of its various chronological layers in the

national-cultural universe, which makes the symbol extremely popular in artistic creativity, in particular, in poetry, in the context of which the word-symbol becomes an element of a kind of intertext, correlated with the hypertext of culture. However, the symbolic meaning is of interest not only as a representative of archaic mythological views: the era of myth-making does not end with the transition to a higher level of development of society, and the new myth generates its symbols on the basis of existing ones, which become its tools. In this regard, we can talk about the traditionality of the word-symbol, its relationship with key concepts, and language symbols is based on linguistic and cultural tradition. The word-symbol is based on the unity of diachrony and synchrony, and, ontologically residing in this duality, it can have a programming effect on the consciousness of the native speaker.

Keywords: word, symbol, myth, tradition, diachrony, synchrony, language consciousness, cultural connotation, ethnoculture.

Известно, что язык является мощным средством воздействия на индивидуальное и коллективное сознание. Неслучайно библейский текст начинается с фразы «В начале (именно в такой орфографии – имеется в виду начало времен, начало творения. – С.К.) было СЛОВО...». Даже с учетом многозначного греческого аналога: *logos* – ‘слово’, ‘мысль’, ‘идея’, ‘учение’ – «Книга книг» акцентирует внимание на возможности воздействия на сознание человека, а в контексте древнейшей мифологической парадигмы – и на окружающую действительность посредством языка. Так, русские глаголы *убедить*, *переубедить* отражают возможность изменить чьи-либо убеждения посредством слова. Русская пословица гласит: *Слово не стрела, а в сердце сквозит* (т.е. пронзает).

Отсюда проистекает вера в могущество слова: словом можно исцелить, «заговорить», и можно поразить, навести порчу, что свидетельствует о той высокой цене, которую имеет слово в русской народной культуре, где слово зачастую значит больше чем дело или, по крайней мере, равнозначно делу, о чем свидетельствует, в частности, древнейший синкретизм глагола *ДѢЯТИ* – «делать» и «говорить» (значение «говорить» сохраняется в запад-но-славянских языках, например в чешском и лужицком). Несмотря на то, что семантическое раздвоение слова произошло еще в праславянскую эпоху (в ст.-сл. текстах глагол *ДѢШИ ЛИ* со значением говорения зафиксирован единожды), в восточнославянских языках от этого корня образуются частица *де* (укр. *di*), *дескать* (< *дѣе съказати*) [14, с. 88-89] (ср. польск. *rzecz* – «вещь, предмет» и «речь»).

Это свойство слова языка в еще большей степени актуально для слов-символов – языковых единиц, семантика которых включает образное основание, выявляющее особенности культурной коннотации. Символ в данном случае указывает не на референт, а на образ, репрезентируемый референтом. Символы служат особым кодом, с помощью которого носитель языкового сознания не только интерпретирует окружающий и внутренний мир, но и классифицирует объекты действительности. Исходя из этого, можно полагать, что символы создают особую – символическую (замещающую) – картину мира, выступающую как своеобразный код прочтения бытия. Этот феномен А. Я. Гуревич [3, с. 65] квалифицирует как «символическое удвоение мира».

Суть символизма и состоит в переносе образов конкретных предметов на другие конкретные предметы, в связи с чем возникает своеобразная знаковая система – корпус символьных имен, назначение которых – не прямая номинация, а описательное обозначение объекта. И здесь мы входим в область языковой символики, где каждый элемент является знаком и в плане выражения, и в плане содержания, поскольку его содержание служит планом выражения для другого, культурно более ценного, содержания [5, с. 193], а потому символ двуедин: он есть и форма, и содержание [2, с. 66].

Поскольку символ есть конкретно-чувственное обобщение предметов и явлений действительности, можно полагать, что символ есть знак, который, в отличие

от метафоры, не базируется на объективно или субъективно устанавливаемом сходстве объектов. Символ – это изначально условность, следовательно, слова-символы исключительно конвенциональны: они служат обозначением результатов трансформированного отражения, его модифицированным, социально значимым выражением. Например, Солнце в русской культурной традиции выступает в качестве символа жизни, радости, добра, но денотат слова солнце не содержит такого смысла. В то же время об условности символов можно говорить с определенными ограничениями. Не вызывает сомнения, что значение Солнца как символа добра в архаичной восточнославянской – земледельческой – культуре проистекает из того, что с солнечным теплом связывается пробуждение природы после зимних холодов, получение урожая, обеспечивающего земледельца пропитанием на весь календарный год, и сама жизнь. «Известно, что языковой знак произволен; ничто не заставляет акустический образ <...> соотноситься «естественным образом» с концептом <...>, и в этом случае знак не мотивирован. Однако произвольность имеет свои пределы, которые зависят от ассоциативных связей слова <...>» [1, с. 91-92]. Что касается символических имен, то «символ характеризуется тем, что он всегда не до конца произволен; ... в нем всегда есть рудимент естественной связи между означающим и означаемым» [11, с. 101]. Значит, необходим такой лингвистический анализ символических номинантов, который позволил бы объяснить языковые факты посредством установления причинно-следственных связей между «символизируемым» как означаемым и «символизирующим» как означающим.

Так, огонь издревле является символом сильных чувств, о чем свидетельствуют метафоры *огонь души, огонь любви, гореть желанием (В крови горит огонь желанья), пламенеть от гнева, от злости* и т.д. *Пламя страсти*, подобно огню, способно испепелить сердце. Не вызывает сомнения, что символизация огня как проявления сильного чувства основана на сходстве с ощущением, возникающим при физическом воздействии огня. Пламя гнева проявляется как на уровне внутреннего ощущения, так и посредством внешних признаков (кровь приливает к лицу человека, охваченного гневом, отчего оно становится красным – *пламенеет*).

Иными словами, в основе символа лежат причинно-следственные связи, которые имманентно присутствуют в нем. Символическое значение, приобретаемое объектом действительности, усваивается и словом-наименованием. Отождествление элементов происходило не на уровне номинаций, а на уровне самих объектов действительности, но следствием этого явилось то, что универсальный закон уподобления транспонируется с мифа на естественный язык, положив начало его символизации и метафоризации. Таким образом, язык и миф с самого начала находятся в неразрывной связи. В результате мифология предстает в качестве системы оязыковленных представлений, а миф может быть осмыслен как древнейший способ концептуализации действительности (мифотворчество) и как возникающий в процессе такой концептуализации образ мира, мифологическая картина мира как отраженная языковой картиной мира мировоззренческая система, особый склад мировидения. Миф для архаичного человека в приемлемых для него терминах (символах) объяснял сущее и тем самым регулировал бытие человека в мире. Именно в контексте мифологической картины мира возникали слова-символы, семантика которых – на уровне семантического архетипа – включает образное основание, выявляющее особенности культурной коннотации. Семантическая перекодировка мифа в символ – это не столько явление коренного изменения, но процесс приращения смысла, обогащения исходной семантики поэтикой.

В результате слово-символ есть не только синтез означающего и означаемого: оно несет в себе определенную идею, мотив, сюжет (нередко мифологический). Например, уже упомянутый положительный символ Солнца в русской мифологической картине мира противопоставлен символу Луны. Соотнесенность оппозиции «солнце – луна» с противопоставлением «мужское – женское» уходит

корнями в глубокую древность. Так, по древним ведическим преданиям, солнечный культ приписывал богу вселенной мужское начало. Вокруг него объединялось все наиболее чистое: священный огонь, культ предков и т.п. «Лунный культ приписывал божеству женское начало, под знаменем которого религии арийского цикла обоготворяли во все века природу, по большей части слепую, непостоянную, в ее наиболее бурных и страшных проявлениях» [16, с. 54–55]. При этом Луна в сознании древних соотносилась с водой – устойчивой метафоризацией неуправляемых стихий (ср. вызываемые этим светилом приливы и отливы) и смерти.

Согласно одной из этимологических версий, слово *луна* восходит к **louksnā*, родственному др.-прус. *lauxnos* – мн. «светила», и этимологически связано со словом *луч*. Правда, как справедливо заметил П. Я. Черных [15, с. 495], в отношении консонантизма здесь не все в порядке: в общеславянском следовало бы ожидать **louchna*, поскольку **ks* (*-s- после *-k-) > *kch* > *ch*. На наш взгляд, в основе именования следует искать концептуальный признак, который отличает данную реалию от ряда подобных. Такой отличительной особенностью, несомненно, является возможность «уменьшения» и «увеличения» Луны, что не свойственно другим светилам (Солнцу, звездам). Именно изменение размера видимой части этого небесного тела служило в древности основой для измерения времени. «Заметим, что у современных народностей, живущих на Алтае, где пересекаются и сосуществуют три основные мировые религии: христианство, буддизм и ислам», – считается, что растущая луна пробуждает в человеке светлое и доброе, божественное, начало, а убывающая – активизирует темные силы.

Подобная энантиосемичность образа луны присутствовала и в верованиях славян [См. об этом: 2, с. 85], найдя, по нашему мнению, отражение в языке: известно, что корень *лун-* имеет в ряде славянских языков и диалектов значение «смерть»: смол. *лунуть* – «бухнуть, хлопнуть, выстрелить, умереть», белор. *лунуць* – «погибнуть», где просматривается тот же праязыковой корень. Вероятно, именно к этому корню следует возводить наименование ночного светила. В таком случае славянское *луна* родственно др.-инд. *lunāti*, *lunōti* – «режет, отрезает», исходя из чего реконструируется архетипическое значение лексемы – «слабеющая, уменьшающаяся» (а не «белая, блестящая, излучающая или отражающая свет»). Отметим, что связь концептов «Луна» – «Смерть» нашла вербальное выражение не только в славянских языках. Так, греческое *σεληνα* – «луна» – родственно существительному *ληνος* – «гроб», из чего М. М. Маковский [7, с. 320] заключает, что Луна и у греков считалась символом смерти, при этом элемент *σε-* (*σε-ληνα*) (Селена) автор полагает неэтимологическим, употребленным из соображений табу. Следовательно, в основу славянской номинации изначально мог быть заложен негативный признак, связанный с восприятием убывающей луны (ср. оппозицию «правый (добро) – левый (зло)», которая хорошо коррелирует с местоположением на небосводе данного светила в ту или иную фазу), что детерминировало коннотацию номинанты.

В свете вышесказанного представляет интерес устаревшее значение слова *луна* – «комета». Как известно, кометы также считались предвестниками больших несчастий: «*Бысть знамение на небеси <...> кровавые луны ходили*» (Псковская летопись). Как видим, во всех значениях слова *луна* проявляется отрицательный оценочный компонент. Следовательно, мы можем достаточно аргументированно говорить о связи концептуальной оппозиции «Солнце» – «Луна» с противопоставлением «благоприятное – неблагоприятное» и актуализации этой связи при символическом употреблении слов. В существующих до сегодняшнего дня поверьях растущая луна соотносится с радостью и прибылью, а убывающая – со смертью (ср. с символикой графического символа, где, в соответствии с традиционной народной трактовкой, первый символ воспринимается как часть буквы «Р»,

начинающей слово «радость», а второй – как графема «С», с которой начинается слово «смерть»).

Заметим при этом, что даже природные эквиваленты, выступая в роли символов, в разных этнокультурах могут обладать различной (вплоть до противоположной) культурной коннотацией. Так, если луна у русских – традиционный символ печали, то для китайцев – это знак семейного благополучия и единство собравшейся вместе семьи, что не отменяет факта особой значимости данного символа.

Наборы символов в этнокультурах достаточно постоянны, поэтому они служат выполнению культурой кумулятивной функции и единению ее различных хронологических пластов в национально-культурный универсум. По мнению Ю. М. Лотмана, «символ никогда не принадлежит какому-либо одному синхронному срезу культуры – он всегда пронзает этот срез по вертикали, приходя из прошлого и уходя в будущее» [6, с. 241].

Это делает символ чрезвычайно востребованным в художественном творчестве, в частности, в поэзии, в контексте которой символ становится элементом своеобразного интертекста, соотносимого с гипертекстом культуры. Это легко иллюстрирует уже рассмотренный мифологизированный символ луны: в современной русскоязычной лирической поэзии лексема луна является весьма употребительной, при этом семантика слова-символа включает такие дополнительные смыслы, как «одиночество», «печаль», «любовь», часто неразделённая; «безжизненность», «обреченность». В поэзии символы луны могут соотноситься с образом сомнамбулы как символом отрешенности человека, «выключенности» его из бытия, духовной смерти, характеризующей эпоху декаданса. В данном случае общий минорный тон литературной лирики обуславливает выбор лексических средств и в то же время свидетельствует о сохранении наивно-идеалистического восприятия образа, уходящего корнями в область мифологических представлений, поскольку миф действительно никогда не исчезает бесследно, детерминируя языковую образность и возможность метафорического, а значит, и поэтического употребления слова.

Как пишет Л. В. Лосев, «если бы кто-нибудь взялся написать краткую историю луны в русской поэзии, получилась бы поучительная картина взлетов и падений одной постоянной метафорической основы. «Царица ночи» (Пушкин, 1820) раннеромантического периода превращается в «блин с сметаной» (Лермонтов, 1840), затем нейтрализуется в небесное тело с функцией ночью освещать железную дорогу или наполнять своим светом сад у Некрасова и Фета, чтобы затем вновь стать вместилищем поэтических эмоций, главным образом сарказма, на заре модернизма – «бессмысленный диск» Блока, «дохлая луна» футуристов. И тут виток историко-эстетической спирали завершается, у Мандельштама вновь выплывает полная луна предромантизма» [4, с. 150–151].

Так, в стихотворении А. А. Ахматовой *«За озером луна остановилась...»* лирическую героиню одолевают тревожные чувства: *«<...> что-то нехорошее случилось. / Хозяина ли мертвым привезли <...> / Иль маленькая девочка пропала / И башмачок у заводи нашли... / <...> Страшную беду / Почувствовав, мы сразу замолчали. / Зауспокойно филины кричали <...>»*. А. А. Ахматова продолжает здесь русскую народнопоэтическую традицию, согласно которой луна является знаком беды, смерти (ср.: Выть на луну), и эта информация репрезентируется ключевым символом Луна, наследующим концептуально значимую информацию мифа, соотносимого с архаичной эпохой, в контексте которой процесс языкотворчества приобретал сакральный характер, что предопределило мифологизацию языка, которая находит продолжение в метафорике и символизме.

Как отмечают исследователи, слова-символы, как правило, всегда достаточно древние лексемы, которые Б. В. Вышеславцев называет документами коллективного бессознательного. Эти «документы» посвящают нас в ту «ночную» (Г. Флоровский) культуру, истоки которой уходят в глубокую древность, но следы которой сохраняются в сознании носителей современной культуры. Эта «ночная» культура тесно переплетается с «дневной», развившейся в исторический период [9, с. 5]. Следовательно, можно предположить, что в слове-символе всегда присутствует архаика, а потому символы являются хранилищем культурной памяти, в терминологии Е. М. Верецагина и В. Г. Костомарова – логэпистемами, или лингвокультурами (термин В. В. Воробьева).

Иными словами, всякое древнее слово (*названия светил, дом, дерево, вода, земля, термины родства, наименования животных, человека и частей его тела и т.д.*) символично, потому оно может и должно быть прочитано как культурный текст.

Но символическое значение представляет интерес не только как репрезентация архаичных мифологических воззрений. На деле эпоха мифотворчества не заканчивается с переходом к более высокому уровню развития социума. Мифологическая когнитивная парадигма как часть концептуальной картины мира этноса и любого носителя языка продолжает свое существование в недрах человеческого сознания, детерминируя не только неизбежность суеверий (в практике повседневной жизни русский народ во многом остается склонным к мифологизациям), верований, ритуалов, но и порождая новые социально значимые мифы (ср. миф о возможности построения коммунизма в одной отдельно взятой стране и во всём мире). И новый миф генерирует (на базе традиционных) свои символы, которые становятся его инструментарием.

Общеизвестно, что социальные катаклизмы, революции, гражданские войны влекут за собой изменения в менталитете, отражённые в языке, в его лексической системе и фразеологии. Вспомним активное вхождение в обиход россиян слова *перестройка* в его новом, социально и политически обусловленном значении, ср. исходную семантику: *перестройка* – от *перестроить* ‘построить заново, иначе, произвести переделку в постройке’ [10, с. 98]. При этом слово *перестройка* не только отразило перемены, происходившие в этот период в жизни общества – его быстрое закрепление в активном словаре россиян было культурологически «подготовлено».

Так, ещё после Октябрьской революции (не будем использовать более употребительное сегодня слово «переворот», поскольку изменения, произошедшие в постоктябрьский период действительно были революционными – без оценки данных событий – положительной или отрицательной, так как революция по сути представляет собой коренные изменения во всей социально-экономической структуре общества, причем изменения, происходящие за короткий период, а не постепенно, то есть не путем эволюции) слова *строить, строитель* и т.д. стали ключевыми элементами культуры. Образ стройки пронизывал революционную поэзию, ср.: «*Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим...*» («Интернационал»). Возникает фразеологизированное сочетание *строитель коммунизма*. Позже, в 1961 году, даже будет написан «Моральный кодекс строителя коммунизма» – свод принципов коммунистической морали, определяющих идеальное поведение и моральные принципы советского человека. Таким образом, *стройка* в этот период выступает как символ созидания государства нового типа.

При этом несоответствие идеала (мифа) и реального положения дел выливается в развенчание данного ключевого символа – например, в повести А. Платонова «Котлован»: «...Он [инженер Прушевский] выдумал единственный **общепролетарский дом вместо старого города**, где и посейчас живут люди дворовым огороженным способом; через год весь местный пролетариат выйдет из мелкоимущественного города и займет для жизни монументальный новый дом.

Через десять или двадцать лет другой инженер построит в середине мира башню, куда войдут на вечное, счастливое поселение трудящиеся всей земли» [8, с. 398].

И здесь ассоциативно возникает ещё один символ – архаичный, берущий начало в библейской истории, – строительство Вавилонской башни (*Вавилонское столпотворение*), описанное в 11-ой главе книги «Бытие». Согласно преданию, после Всемирного потопа люди пришли в землю Сennaар, где решили построить город Вавилон (в переводе ‘Врата богов’) и башню высотой до небес, дабы возвыситься; но Господь прервал это строительство, разделив единый язык на разные языки, в результате чего строители перестали понимать друг друга и разноязыкие люди рассеялись по всей земле.

Примечательно, что этот архаичный христианский символ библейского строительства входит в единую концептуальную систему, объединяющую символически нагруженный концепт «Стройка» с концептом «Дом», также традиционно этнокультурно значимым. Сама лексема дом этимологически связывается с греч. δέμω – «строю» – и восходит к и.-е. **dem-* / **dom-* – «строить», а его развившееся символическое значение представляет интерес как репрезентация архаичных мифологических воззрений. В частности, как отмечал О. Н. Трубачев [13, с. 148–173], латинское слово *domus* обозначает дом не как постройку, сооружение, а как символ семьи. Это термин права и социальной организации, а не строительной техники. По этой причине индоевропейская основа данного слова входит в состав греческого δεσπότης (**dems-pot-* – «деспот») – «господин, глава семьи», социального по своей природе термина. В качестве доказательства учёный приводил русские формы *домой*, *дома*, которые, при всей своей специфике наречий из старых падежных форм, по-прежнему имеют значения «к себе», «у себя», а не «под крышу», «под крышей».

Заметим, что русский «*Домострой*» также не имеет отношения к зодчеству, это свод правил, регламентирующих семейный уклад. По мнению О. Н. Трубачева [12, с. 12], «есть основания предполагать фигуральное употребление первоначального имени деятеля *домострой (не засвидетельствовано), слишком напоминающего кальку с греч. οἰκονομὸς «домохозяин» и функционально отличного от известного *домостроитель*».

В этой связи можно говорить о традиционности слова-символа *стройка* для русской культуры, его взаимосвязи с ключевыми концептами, что и было, вероятно, взято на вооружение столетие назад новой властью, ибо воздействие на массовое сознание посредством языковых символов в данном случае опирается на языковую и культурную традицию, что, безусловно, обеспечивает результативность такой стратегии.

Заметим, что символический параллелизм обнаруживается не только в единстве символов революционного строительства (строительство «нового мира», коммунизма) и библейского предания (строительство Вавилона и столпотворение), но и в известном совпадении «Морального кодекса строителя коммунизма» и библейских заповедей. Адепты новой – революционной – идеологии, по-видимому, осознанно использовали укоренившуюся в массовом сознании систему ключевых символов, генерируя на этой традиционной основе новый миф. И поэтому символ *стройки* оказался здесь весьма продуктивным.

Соответственно, совсем не случайно коренные изменения, происходившие в СССР с конца 80-х гг. XX столетия, стали именовать *перестройкой*.

И, как оказалось, на этом традиция политического символа не оборвалась. Уже в 2007 году, во время выборов в Государственную Думу России, среди партий, претендовавших на место в парламенте страны, была партия, предложившая программу «*Достройка*» («Союз правых сил»). Кандидат от данной партии делал ставку прежде всего на пенсионеров, а потому использовалось слово-символ, легко

«входящее» в общественное сознание, так как за ним просматривается даже не вековая, а тысячелетняя традиция.

Равным образом, в единстве с символом строительства разворачивалась традиционная мифологема *светлого будущего* – *строительство светлого будущего, вера в светлое будущее*. Здесь был задействован ещё один традиционный символ – свет. Мир обетованный на Руси называли белым светом. Противопоставление свет – тьма является фундаментальной оппозицией, в историческую эпоху оно ляжет в основу библейского конфликта. При этом ассоциативное поле лексемы свет в Священном Писании составляют такие понятия, как Бог, Христос, Богоявление, жизнь, истина, вера, спасение, евангелие, Слава Божия, добро, радость, истинная вера, Божье слово, любовь, ангелы и др. То есть вновь просматривается параллелизм идеологически нагруженных традиционных символов светлого (райского) будущего. При этом для актуализации традиционного слова-символа важна его культурная коннотация. И в этом ключе слово-символ выступает не только как знак, замещающий объект действительности в сознании носителя языка, но как носитель программирующей информации, вбирающей этнокультурную специфику менталитета (в диахронии) и социокультурную характеристику исторического момента (в синхронии), соотнося его с концептуальной картиной мира этноса.

Можно сделать вывод, что, употребляясь в символической функции, слово оказывается как бы двунаправленным. И дело не только в том, что слово-символ – это своеобразная формула, выражающая взаимоотношения двух разных по своему характеру и противопоставленных по ряду признаков значений – лексического значения слова и значения символа. Слово-символ зиждется на единстве диахронии и синхронии, и, онтологически пребывая в этом единстве, оно может оказывать программирующее воздействие на сознание носителя языка.

Посредством языковых символов осуществляется передача социального опыта нации, включая культурные традиции и нормы общежития, в связи с чем язык рассматривается как важнейшее средство кумуляции и трансляции национальной культуры. При этом символы выступают здесь не только как результат мифотворчества (в его широком понимании), но и как инструмент формирования концептуальной картины мира, детерминированной мифологической когнитивной парадигмой как в диахронии, так и в синхронии.

В этом ключе всякая символически нагруженная единица языка представляет собой особый (недискретный) культурный текст, а информация о характере «тематических» отношений, имплицированных языковой семантикой, может быть извлечена из традиционного образа и культурной коннотации слова.

Список источников и литературы

1. Барт Р. *Избранные работы. Семиотика и поэтика*. М.: Прогресс : Универс, 1994. 616 с.
2. Белый А. *Символизм как миропонимание*. М.: Республика, 1993. 528 с.
3. Гуревич А. Я. *Категории средневековой культуры*. М.: Искусство, 1972. 317 с.
4. Лосев Л. В. «Страшный пейзаж»: маргиналии к теме Ахматова / Достоевский // *Звезда*. 1992. № 8. С. 148–155.
5. Лотман Ю. М. *Избранные статьи. Т.1*. Таллинн, 1992. С. 191–199.
6. Лотман Ю. М. *Семиосфера*. СПб.: Искусство-СПб, 2000. 704 с.
7. Маковский М. М. *Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках*. М.: ВЛАДОС, 1996. 416 с.
8. Платонов А. Котлован // *Избранное* / А. Платонов. Минск: Университетское, 1989. С. 367–475.

9. Сипинев Ю. А., Сипинева И. А. *Русская культура и словесность*. СПб.: Сайма, 1994. 396 с.
10. *Словарь русского языка: в 4 т. Т. 3 / под ред. А. П. Евгеньевой*. М.: Русский язык : Полиграфресурсы, 1999. 750 с.
11. Соссюр Ф. де. *Труды по языкознанию*. М.: Прогресс, 1977. 695 с.
12. Трубачев О. Н. Праславянское лексическое наследие и древнерусская лексика дописьменного периода // *Этимология*. 1991-1993. М., 1994. С. 3–23.
13. Трубачев О. Н. *Этимологические исследования и лексическая семантика // Принципы и методы семантических исследований*. М., 1976. С. 148–173.
14. Филин Ф. П. *Историческая лексикология русского языка*. М.: Наука, 1984. 174 с.
15. Черных П. Я. *Историко-этимологический словарь русского языка: в 2 т. Т. 1*. М.: Русский язык, 1994. 624 с.
16. Шюре Э. *Великие посвященные*. М.: Книга-Принтшоп, 1990. 419 с.

References

1. Barthes R. *Izbrannyye raboty. Semiotika. Poetika*. [Selected works. Semiotics and poetics]. Moscow: Izd. gruppa «Progress», «Univers» publ, 1994. 616 p. [In Russian].
2. Bely A. *Simvolizm kak miroponimaniye* [Symbolism as a worldview]. Moscow: Republika publ, 1993. 528 p. [In Russian].
3. Gurevich A. Ya. *Kategorii srednevekovoy kul'tury* [Categories of medieval culture]. Moscow: Iskusstvo publ, 1972. 317 p. [In Russian].
4. Losev L. V. «Strashnyy peyzazh»: marginalii k teme Akhmatova ["Scary landscape": marginalia to the topic of Akhmatova / Dostoevsky]. *Zvezda*. 1992. No. 8. Pp. 148–155. [In Russian].
5. Lotman Yu.M. *Izbrannyye stat'i* [Selected articles]. Vol. 1. Tallinn, 1992. Pp. 191–199. [In Russian].
6. Lotman Yu.M. *Semiosfera* [Semiosphere]. Saint-Petersburg: "Iskusstvo-SPb" publ, 2000. 704 p. [In Russian].
7. Makovskiy M. M. *Sravnitel'nyy slovar' mifologicheskoy simboliki v indoevropeyskikh yazykakh* [Comparative dictionary of mythological symbolism in Indo-European languages]. Moscow: VLADOS publ, 1996. 416 p. [In Russian].
8. Platonov A. Kotlovan [Pit]. *Izbrannoye* [Favorites]. Minsk: Universitetskoye publ, 1989. Pp. 367–475. [In Russian].
9. Sipinen Yu. A., Sipineva I. A. *Russkaya kul'tura i slovesnost'* [Russian culture and literature]. Saint-Petersburg: 'Sayma' publishing house, 1994. 396 p. [In Russian].
10. *Slovar' russkogo yazyka* [Dictionary of the Russian language]: In 4 vols. Ed. by A.P. Evgenieva. Vol. 3. Moscow: Russkiy yazyk; Poligrafresursy publ, 1999. 750 p. [In Russian].
11. Saussure F. de. *Trudy po yazykoznaniyu* [Works on linguistics]. Moscow: Progress publ, 1977. 695 p. [In Russian].
12. Trubachev O. N. Praslavyanskoye leksicheskoye nasledie i drevnerusskaya leksika dopis'mennogo perioda [Pre-Slavic lexical heritage and Old Russian vocabulary of the preliterate period]. *Etymology 1991 – 1993. [Etimologiya 1991-1993]*. Moscow: Nauka publ, 1994. Pp. 3–23. [In Russian].
13. Trubachev O. N. *Etimologicheskiye issledovaniya i leksicheskaya semantika* [Etymological studies and lexical semantics]. *Printsipy i metody semanticheskikh issledovaniy* [Principles and methods of semantic research]. Moscow: Nauka publ, 1976. Pp. 148–173. [In Russian].
14. Filin F. P. *Istoricheskaya leksikologiya russkogo yazyka* [Historical lexicology of the Russian language]. Moscow: Nauka publ, 1984. 174 pp. [In Russian].

15. Chernykh P. Ya. *Istoriko-etimologicheskii slovar' russkogo yazyka* [Historical and etymological dictionary of the Russian language]. Vol. 1. Moscow, 1994. 624 p. [In Russian].
16. Schuré E. *Velikiye posvyashchennyye* [The Great Initiates, A Study of the Secret History of Religions]. Moscow: SP «Kniga – Printshop» publ, 1990. 419 p. [In Russian].

Сведения об авторе

Кошарная Светлана Алексеевна –
доктор филологических наук, профессор,
профессор кафедры русского языка и
русской литературы НИУ БелГУ
(e-mail: Kosharnaja[at]bsu.edu.ru).

Information about the Author

Kosharnaya Svetlana Alekseevna,
Doctor of Philology, Professor, Professor of
the Department of Russian Language and
Russian Literature of the
Belgorod State National Research University
(e-mail: Kosharnaja[at]bsu.edu.ru).

АЛЛЮЗИЯ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ В СТИХОТВОРЕНИИ И. БРОДСКОГО «ПИСЬМА ДИНАСТИИ МИНЬ»

В. В. Оразбекова

Московский финансово – юридический университет
(г. Москва, Россия)

Аннотация. Статья посвящена аллюзии как одному из средств интертекстуальной игры в стихотворении И. Бродского. Аллюзия рассматривается в рамках интертекстуальности выполняющая функцию многослойной структуры текста. Исследуются культурные, исторические и литературные архетипы как семантические коды. Устанавливается взаимосвязь между сказочными аллюзиями и реальными концептами в произведении, формирующими поэтическую картину мира. Исторический концепт позиционируется с различными культурными текстами и аллюзиями, которые рассматриваются как прецедентные феномены. Аллюзии рассматриваются в контексте семиотической теории «текста в тексте».

Ключевые слова: аллюзия, интертекстуальность, художественный текст, прецедентный феномен, языковая игра, семиотический код.

UDC 930.272
LBC Ш09

Date of receipt of article: 03.12.2020
Date of publication decision: 11.12.2020

ALLUSION AS A MEANS OF EXPRESSING INTERTEXTUALITY IN I. BRODSKY'S POEM "LETTERS OF THE MING DYNASTY"

V. V. Orazbekova

Moscow University of Finance and Law
(Moscow, Russia)

Abstract. The article regards allusion as one of the means of intertextual play in the poem by I. Brodsky. The author considers allusion in the context of intertextuality, which performs the function of a multilayer structure of the text. The work considers cultural, historical and literary archetypes as semantic codes. The author establishes a relationship between fairy tale's allusions and real concepts in the work and forms a poetic picture of the world. The article connects historical concept with various cultural texts and allusions, which are seen as precedent phenomena. The work considers allusions in the context of the semiotic theory of "text in text".

Keywords: allusion, intertextuality, literary text, precedent phenomenon, language game, semiotic code.

Проблема чужого слова в художественном тексте активно разрабатывалась в рамках семиотической теории «текста в тексте», интертекстуальности. Коммуникативный подход обуславливает особую значимость исследования поэтического текста с точки зрения адресата. Вследствие этого актуальной становится проблема адекватного понимания содержания литературного произведения. Общее ядро информационных тезаурусов дает возможным широкое понимание текста. К определению понятия «чужой» текст относятся цитата, реминисценция, аллюзия, интертекстуальность. Чужой текст выполняет роль своеобразной дефиниции данных понятий. Под цитатой в лингвистике понимается точное воспроизведение фрагмента

«чужого» текста. В литературоведении понятие «цитата» нередко употребляется как общее, родовое. Оно включает в себя цитату – как точную передачу фрагмента текста и аллюзию. Намек на исторические события, бытовые или литературные факты, широко известные читателю или носителю культурных реалий. А также реминисценции, присутствующие в художественных текстах «отсылки» к предшествующим литературным фактам. Это образы литературы в литературе. По мнению Г. Слышкина, «осознание и использование того, что знаковая единица, особенно взятая вне контекста, может служить отсылкой ко множеству различных концептов, также является важным элементом коммуникативной компетенции, позволяющим создавать изощренные речевые фигуры, основанные на двусмысленности: загадки, эвфемизмы, иносказания, персифляция (насмешка, замаскированная под комплимент), подтексты, намеки» [11, с. 20].

Часто реминисценции уподобляют цитатам. В текст отсылка может включаться сознательно и целеустремленно, либо возникать независимо от воли автора, непроизвольно, являясь литературным напоминанием. Реминисценции опираются на ранний опыт или на пародирование ранее созданного текста. При этом оценка может быть как положительной, так и отрицательной: «...при всем многообразии цитации разные и часто несхожие «голоса» всегда помещаются в такой контекст, который позволяет за чужим словом услышать авторское (согласие или несогласие с этим чужим словом)» [14, с. 267]. Область применения реминисценций шире сферы цитирования. Реминисценциями нередко становятся простые упоминания произведений с их оценочными характеристиками. Литературные реминисценции и их разновидности родственны и имеют общее целеполагание – создание иных текстов, в которых аллюзии хранятся в «свернутом» виде. Аллюзия составляет одно из звеньев содержательной формы литературного произведения, которые реализуют культурно – художественную и стилистическую проблемы творчества. Аллюзия, выражая смысловые оттенки и оценку литературных фактов, оказывается неким подобием литературно – критического выступления. Тем самым создается мир художественных текстов в одном литературном пространстве, которые соприкасаясь друг с другом, создают новые отсылки и порождают новые смыслы.

Натали Пьеге-Гро считает, что: «интертекстовая аллюзия заключается в том, чтобы в имплицитной форме установить связь данного текста с другим текстом» [10, с. 224]. Таким образом, главная функция цитаты – преобразование и формирование смыслов авторского текста. Если читатель не узнал «чужое» слово, следовательно, он не прочтает скрытые смыслы и текст станет «мертвым». Цитирование сохранится только в данном тексте, а значит, не произойдет преобразования авторского текста. Важна не сама цитата, а ее функция, которая вызывает ряд ассоциаций. Она становится возможностью диалога читателя с другими текстами, которые обогащает авторское высказывание за счет цитирования текста. Иногда автор использует одно слово или фразу, которая становится отсылкой. Подобное явление принято называть прецедентностью. «"Литературное слово" – это «место пересечения текстовых плоскостей», "диалог различных видов письма"» [14, с. 268].

Поэтические тексты И. Бродского наполнены литературными цитатами, аллюзиями, реминисценциями. Автор погружает читателя в разветвленный полилог с другими культурами, историческими, эстетическими, литературными традициями. Бродский вводит в поэтический текст чужое слово, ориентируется на глубину культурологических и литературных знаний читателя, способного не только «опознать» чужое слово, но и осмыслить его в семантической культуре. Чужой текст в интерпретации читателя служит источником цитат и аллюзий, вступая в прагматические связи с другими элементами, формирует новые смыслы текста. Многочисленный ассоциативный круг, вплетаясь в структуру текста, порождает новые ассоциации, обретает двойное звучание. Аллюзия как намек на литературный факт отличается от цитаты как точного воспроизведения какого – либо фрагмента

чужого текста. Лексическая структура текста – источник аллюзии, всегда усечена, иногда до одного компонента, который становится отсылкой.

В поэтическом тексте часто присутствуют элементы и стилистические приемы, ранее употреблявшиеся в других текстах. Например, метафоры, сравнения и другие тропы и фигуры, которые воплощают авторский замысел, выполняют роль стилизации, интерпретации, пародированию, отсылки к чужим текстам. Использование огромного арсенала приводит к широкому выбору художественно – изобразительных средств. Для создания многослойности структуры текста используются интертекстуальные связи и прецедентные феномены. Они создают определенные смысловые уровни: культурные, исторические и мифологические контексты. Термин «интертекст» был введен теоретиком постструктурализма Ю.Кристевой. Она понимала под термином «неотъемлемое свойство создавать уровень импликации» [8, с. 187] и отсылать читателя к уже написанным ранее текстам или культурным концептам. Несмотря на то, что именно Кристева впервые употребила этот термин, при его раскрытии все же она повторяет трактовку Р. Барта. Он отмечал, что любой текст состоит из отсылок, отзвуков, цитат и все это является языками самой культуры, старыми и новыми, проходящими сквозь текст и создающими мощную стереофонию. «Всякий текст есть междутекст по отношению к какому-то другому тексту, но эту интертекстуальность не стоит понимать так, что у текста есть какое-то происхождение. Всякие поиски «источников» и «влияний» соответствуют мифу о филиации (развитии) произведения, текст же образуется из анонимных, неуловимых и вместе с тем уже читанных цитат» [2, с. 418].

И. В. Арнольд определяет интертекстуальность как «включение в текст либо целых других текстов с иным субъектом речи, либо их фрагментов в виде цитат, реминисценций и аллюзий» [1, с. 351].

Ю. С. Степанов полагает, что интертекст – это то, что проступает за двумя текстами, «... он многоярусен, «многоэтажен» и на уровне первого этажа уже имеет устоявшееся наименование – интертекст. Интертекст – это то, что можно читать в прямом смысле этого слова. Следующие этажи уже вряд ли можно назвать «текстами», поскольку они состоят из «нечитаемого» – понятий, образов, представлений, идей...» [12, с. 3].

Средствами выражения межтекстовых связей являются цитаты, аллюзии, реминисценции.

В современной языковедческой литературе нет четких границ данного явления. Аллюзию рассматривают с позиции интертекстуальности, как одно из средств её реализации, а также как стилистическую фигуру речи. По мнению Н. А. Фатеевой, интертекстуальность – это способ «генезиса собственного текста и постулирования собственного авторского «Я» через сложную систему отношений оппозиций, идентификации и маскировки с текстами других авторов» [13, с. 12].

Аллюзия – сознательное использование определенных явлений, фактов, лиц, рассчитанных на возникновение ассоциативных подтекстов. Аллюзия – средство реализации интертекстуальных связей, умышленно употребляемых, выполняющих определенную стилистическую функцию. Интертекстуальность создает уровень импликации и отсылает читателя к уже написанным ранее текстам, в то время как аллюзия – более узкое понятие. В стихотворении И. Бродского «Письма династии Минь», аллюзия используется как трансформация прецедентного высказывания. Прецедентный феномен служит основой создания языковой игры. У Бродского аллюзия служит инструментом переноса мифологических, исторических, литературных персонажей с отсылкой на вторичный текст.

Таким образом, аллюзия как категория прецедентности и интертекстуальности используется в качестве средства кодировки информации. Бродский использует аллюзию как семантический код. Он интерпретирует в своем тексте сказочные и исторические реалии.

Как считает В. В. Красных, «текст становится хорошо известным всем представителям национально-лингво-культурного сообщества (или, как минимум, их подавляющему большинству). Этого бывает достаточно, если текст достаточно короткий и некоторым образом «навязывается» членам сообщества. Примерами в данном случае могут служить детские сказки и стихи (при этом в каждой культуре существует свой «обязательный» набор таких произведений, с которыми знакомятся все личности, проходящие социализацию в данной культуре). Иногда дополнительным фактором становления ПТ может служить персонаж текста, чье имя имеет (приобретает) статус прецедентного» [7, с. 194].

Поэт выбирает смысловые конструкции из сказки Г. Х. Андерсена «Соловей»: противопоставление живого и механического соловьев; бегство соловьев из дворца. У Бродского заводной соловей, убаюкивающий своим пением императора богдыхана. Андерсоновские мотивы трансформируются в стихотворении. В сказке соловей живет при дворе в особой комнате, гуляет на свободе (при этом 12 слуг держат его за привязанные шелковые ленты, привязанные к лапке). Бродский избавляется от иронических парафраз, вводя прямой образ клетки. Композиционным зачином является освобождение живого соловья и бегство. Бродский использует данный прием, смысловой зачин, чтобы показать главную тему – тему упадка и оскудения мира, из которого уходит искусство. Тем самым, он отождествляет образ соловья с искусством и творчеством, подчеркивает ее главную роль в человеческом существовании.

Бродский наполняет андерсоновский сюжет новыми оригинальными мотивами.

«И, на ночь глядя, таблетки

богдыхан запивает кровью проштрафившегося портного»

в данной строке заложена прямая отсылка к ещё одной андерсоновской сказке – «Новое платье короля». Интерпретируется намек на обманчивость мира и ложность реального мира. Бродский указывает на возможное наказание. В Азии в средние века, особенно в Китае, использовались самые разные способы и методы наказания за различные преступления. В уголовном кодексе карательных мер в династии Мин определены 5 видов наказания за различные преступления и проступки. Традиционная китайская историография относилась к возникновению системы 5 вариантов наказаний, отрезание носа, отрубание одной или обеих конечностей, оскотение и смертную казнь [9, с. 10].

Стандартная классическая форма пяти видов наказаний была установлена при династии Минь была установлена при династии Суй и сохранилась как традиционная. Система охватывала около 3 тысяч преступлений. В минскую эпоху использовалась порка батогами. Согласно энциклопедии Брокгауза и Эфрона, батоги – палки или толстые прутья, толщиной в палец с обрезанными концами, употреблялась в XV – XVIII веках в России для телесных наказаний за мелкие провинности. Во время правления Пера I данное телесное наказание получило наименование «шпицрутен» (Spitzruthen). Иными словами, это был один из самых мелких наказаний, который использовался и на востоке. За воровство, ложь, подлог использовали как раз избиение батогами. Позже и это наказание заменили на изоляцию осужденных на определенное время от привычных условий жизни и социальной среды, и принуждение к выполнению тяжелого физического труда» [5, с. 141]. То есть, в данном стихотворении богдыхан представлен как весьма жестокий правитель.

Бродский позиционирует данный мотив с историческим контекстом, возможно, с трагедией утраты родины.

Еще одной интересной и весьма загадочной деталью является отсылка «специальное зеркало, разглаживающее морщины, каждый год дорожающей».

Подобная трансформация дает основание полагать, что поэт отсылает читателя к известной сказке А. С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне».

«Свет мой, зеркальце! Скажи
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?»

Или речь идет о зеркалах, способных исказить изображение (сказка о королевстве кривых зеркал).

При изготовлении зеркал используется серебряное покрытие, так как у этого металла высокий коэффициент отражения. Но и этот факт не гарантирует его высокое качество, поскольку человек воспринимает отражение с дефектами, обусловленными его индивидуальными особенностями. Это всего лишь зрительная проекция, которая проявляется в результате работы системы восприятия человека, которое во многом зависит от функции органов зрения и работы мозга, трансформирующего поступающие в мозг сигналы в образы. К слову, в древности считалось, что зеркало обладает магическими свойствами. Самое древнее объяснение принадлежит Парацельсу, который считал зеркала тоннелем, соединяющим материальный и тонкий миры. В истории известны факты, когда зеркало наделялось таинственными и магическими свойствами, что было связано с языческими представлениями на Руси. Так, существуют версии, что И. Грозный, боявшийся дурных сил и сглазов, распорядился, чтобы его жене зеркало делали слепые умельцы. Это было связано с поверьем, что зеркало способно передавать порчу. Екатерина Медичи владела зеркалом, которое приоткрывало ей будущее Франции. Генрих IV полагался на зеркало, чтобы раскрыть политические интриги и заговоры против себя. В древнекитайской мифологии зеркало было знаменитой эмблемой всевидящего ока. Мистические свойства зеркал до сих пор исследуются и изучаются. В сказке о мертвой царевне зеркало – самостоятельный персонаж, который не хочет льстить и показывает правду, отражает внутренние качества героини.

Следующий компонент, который следует выделить – «ровная песня» заводного соловья. Данный семиотический код указывает на обездушивание мира как один из симптомов его упадка. Данный мотив реализован в контексте фразы *«Писано тушью на рисовой тонкой бумаге, что дала мне императрица»*.

Почему-то вокруг все больше бумаги, все меньше риса», т.е. происходит замена жизни ее имитацией. Рисовая бумага – ещё один мотив замены жизни на её имитированный аналог. Термин «рисовая бумага» *rice paper* вошел в обиход среди иностранцев, которые так называли всю бумагу, изготовленную ручным способом в Китае. Дело в том, что в состав рисовой бумаги, использующейся в каллиграфии и живописи, входит кора тутового и сандалового дерева, а также сердцевина китайского бумажного дерева. Подобный образ – формализм как искажение реальности или его изменения и как способ вытеснить реальный мир – параллель с заводным соловьем. Значение данной аллюзии в контексте – стремление не замечать упадок, как экономический, так и нравственный. Искусственный способ убеждения в неизменяемости мира.

В сознании Бродского Восток символизирует рабство и угнетение «Восток есть прежде всего традиция подчинения, иерархии» [3, с. 281]. В данном стихотворении китайская культура рассматривается глазами западной культуры. Через сказочные аллюзии, нагроможденные стереотипами, поэт стремился показать двойной оптический взгляд на порочный мир, избегая прямой оценочности.

Следующим семантическим кодом является имя возлюбленной Дикая утка. Это аллюзия и прямая отсылка на произведение Г. Ибсена. «Дикая утка» вся соткана из символов. Это и сама дикая утка, символизирующая распад личности Экдала и Яльмара, и «пучина морская», затянувшая когда – то утку, а теперь отца и сына [6, с. 491–492].

Во второй части стихотворения Бродский развивает мотив обреченности: «Ветер несет на Запад». Строка завершает движение в стихотворении. «Туда, где стоит Стена» – традиционный образ «ненужности», оторванности от родных корней. Герой обречен на одиночество и тоску по родине. Понятия «Запад» и «Стена» несут в себе многозначный характер. Создавая китайский колорит, герой возможно, находится в северной части империи. В строке возникает парадигма сравнения с европейским оттенком:

*«На фоне ее человек уродлив и страшен, как иероглиф,
как любые другие неразборчивые письма».*

Данное сравнение указывает на оппозицию «Восток – Запад», так как для Бродского одна из восточных примет – иероглифика, восточный орнамент, связанный с обезличиванием человека. Восточный принцип орнамента в интерпретации Бродского – не только декоративный аспект письменности, но и глубокие культурные концепты, связанные с впечатлениями поэта. Кроме того, восточная тематика придает иносказательность. Мир стихотворения – советский мир, а Стена – не только Великая китайская, но и Берлинская.

Тем самым, Бродский усиливает посредством аллюзий ностальгическую интонацию произведения.

Осознание эстетической и семантической значимости цитат и аллюзий в лексической структуре текстов И. Бродского, постижение смыслов и ассоциаций, привнесенных чужим словом в текст, приближает читателя к адекватному пониманию содержания поэтического произведения.

Список источников и литературы

1. Арнольд И. В. Проблемы интертекстуальности // Вестник Ленинградского университета. Сер. 2: история, языкознание, литературоведение. 1992. № 4. С. 53–61.
2. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика : пер. с фр. / сост., общ. ред. и вступ. ст. [с. 3–45] Г. К. Косикова. М.: Прогресс, 1994. 615 с.
3. Бродский И. Сочинения Иосифа Бродского. В 7 т. Т. 5. СПб.: Пушкинский фонд, 1999. 431 с.
4. Денисова Г. В. В мире интертекста: язык, память, перевод. М.: Азбуковник, 2003. 298 с.
5. Законы великой династии Мин со сводным комментарием и приложением постановлений (Да Мин люй цзи цзе фу ли). В 2 ч. Ч. 1 / Пер. с кит. и примеч. Н. П. Свистуновой. М.: Вост. лит., 2002. 573 с.
6. История зарубежной литературы конца XIX – нач. XX вв. /под ред. проф. М. Е. Елизаровой и проф. Н. П. Михальской. М.: Высш. шк., 1970. 627 с.
7. Красных В. В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? М.: Гнозис, 2003. 375 с.
8. Кристева Ю. Избранные труды. Разрушение поэтики. М.: РОССПЭН, 2004. 652 с.
9. Пивоваров Н. Д. Наказания в китайском праве династии Мин // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 7. С. 9–14.
10. Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности. М.: ЛЕНАНД, 2015. 240 с.
11. Слышкин Г. Г. Лингвокультурные концепты прецедентных текстов. М.: Academia, 2000. 141 с.
12. Степанов Ю. С. «Интертекст», «интернет», «интерсубъект»: (к основаниям сравнительной концептологии) // Известия АН. Сер. Литературы и языка. 2001. Т. 60, № 1. С. 3–11.

13. Фатеева Н. А. Интертекстуальность и ее функции в художественном дискурсе // Известия АН. Сер. Литературы и языка. 1997. Т. 56, № 5. С. 12–21.
14. Хализев В. Е. Теория литературы: учеб. для студ. вузов. Изд. 4-е, испр. и доп. М.: Высш. шк., 2004. 404 с.
15. Христенко И. С. К истории термина «аллюзия» // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1992. Вып. 6. С. 42–44.

References

1. Arnol'd I. V. Problemy intertekstual'nosti [Problems of intertextuality]. Vestnik Leningradskogo universiteta. Seriya 2: Istoriya, yazykoznaniye, literaturovedeniye [Vestnik of Leningrad University. Series 2, language and Literature]. Issue 4. 1992. Pp. 53–61. [In Russian].
2. Barthes R. Izbrannyye trudy: Semiotika. Poetika [Selected Works: Semiotics. Poetics]. Transl. from French, comp., edited, introductory article on pp. 3-45 by G. K. Kosikova. Moscow: Progress Publ., 1994. 615 p. [In Russian].
3. Brodsky I. A. Sochineniya Iosifa Brodskogo v 7 tomakh [Works of Iosif Brodsky in 7 volumes] Tom 5 [Volume 5]. Saint Petersburg: Pushkinsky fond Publ., 1999, 431 p. [In Russian].
4. Denisova G. V. V mire interteksta: yazyk, pamyat', perevod [In the World of Intertext: Language, Memory, Translation]. Moscow: Azbukovnik Publ., 2003, 298 p. [In Russian].
5. Zakony velikoy dinastii Min so svodnym kommentariyem i prilozheniyem postanovleniy (Da Min lyuy tszi tsze fu li). V 2 ch. Ch. 1 [The Great Ming Code with a summary commentary and annexed regulations (Ming lü jijie fuli). In 2 Parts. Part 1]. Transl. Form Chinese and notes by N. P. Svistunova. Moscow: Vostochnaya literatura Publ., 1997, 573 p. [In Russian].
6. Istoriya zarubezhnoy literatury kontsa 19 - nachala 20 [The history of foreign literature of the late 19th - early 20th centuries] edited by M. E. Elizarova, N. P. Mikhalskaya. Moscow: Vysshaya shkola Publ., 1970, 627 p. [In Russian].
7. Krasnykh V. V. «Svoy» sredi «chuzhikh»: mif ili real'nost'? ["At home" among "strangers": a myth or reality?]. Moscow: Gnozis Publ., 2003, 375 p. [In Russian].
8. Kristeva J Izbrannyye trudy: Razrushenie poetiki [Selected Works: The Destruction of Poetics]. Moscow: Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya (ROSSPEN), 2004, 652 p. [In Russian].
9. Pivovarov N. D. Nakazaniya v kitayskom prave dinastii Min [Punishments in the Chinese law of the Ming Dynasty] Aktual'nyye problemy rossiyskogo prava № 7 [Relevant Problems of the Russian Law. Issue 7]. Moscow: 2015, pp. 9–14. [In Russian].
10. Piege-Gro N. Vvedeniye v teoriyu intertekstualnosti. [Introduction to the theory of intertextuality]. Moscow: LENAND Publ., 2015, 240 p. [In Russian].
11. Slyshkin G. G. Lingvokul'turnyye kontsepty pretsedentnykh [Linguocultural concepts of precedent texts]. Moscow: Akademia Publ., 2000, 141 p. [In Russian].
12. Stepanov Yu. S. "Intertekst", "internet", "intersubekt" k osnovaniyam sravnitel'noi kontseptologii ["Intertext", "Internet", "Intersubject" (to the Foundations of Comparative Conceptology)]. Izvestiya AN. Seriya literatury i yazyka, Vol. 60, Issue 1, 2001, pp. 3–11. [In Russian].

13. Fateeva N. A. Intertekstual'nost' i yeye funktsii v khudozhestvennom diskurse [Intertextuality and its functions in artistic discourse]. *Izvestiya AN. Seriya literatury i yazyka*, Vol. 56, Issue 5, 1997, pp. 12–21, [In Russian].
14. Khalizev V. E. *Teoriya literatury: uchebnyk dlya studentov vuzov* [Literature theory: a textbook for university students]. 4th rev. ed. — Moscow: Vysshaya shkola Publ., 2004, 404 p. [In Russian].
15. Khristenko I. S. K istorii termina «allyuziya» [More on the History of the Term "Allusion"] *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 9. Filologiya. Vyp. 6.* [Moscow State University Bulletin. Series 9. Philology. Issue 6]. Moscow: MSU Publ., 1992, Pp. 42–44, [In Russian].

Сведения об авторе

Оразбекова Вера Васильевна –
магистр педагогических наук,
преподаватель кафедры общеправовых и
социально – гуманитарных наук МФЮА
(e-mail: orazbekova.vera2017@yandex.ru).

Information about the Author

Orazbekova Vera Vasilievna,
master of Pedagogy, Teacher at the Chair
of General Legal, Social Sciences and
Humanities of MFUA
(e-mail: orazbekova.vera2017@yandex.ru).

РОЛЬ КУЛЬТУРНОЙ КОННОТАЦИИ В АДАПТАЦИИ СЕМАНТИКИ ЗАИМСТВОВАННЫХ ОБРАЗОВ В РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗОВ 12 ЗНАКОВ ПО ВОСТОЧНОМУ КАЛЕНДАРЮ)

И. А. Проничева

*Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого
(г. Тула, Россия)*

Аннотация. Статья посвящена анализу культурных коннотаций лексем, обозначающих животных-символов года по Восточному календарю. Культурные коннотации лексем выражают культурно специфичные оценочные признаки лексем, понятные всем носителям русского языка. В статье сравниваются культурные коннотации зоонимов, обозначающих символы года по Восточному календарю, представленные в китайской и русской культурах. Целью исследования является выявление способов интерпретации образов Восточного календаря, которые используют современные масс-медиа и коммерческие организации для привлечения русскоговорящего потребителя.

Ключевые слова: культурная коннотация, русская лингвокультура, китайская лингвокультура, фразеологизм, гороскоп, массовая культура.

USE OF THE CULTURAL CONNOTATION FOR ADAPTING MEANINGS OF BORROWED SYMBOLS IN THE RUSSIAN CULTURE (ON THE EXAMPLE OF 12 SIGNS OF CHINESE CALENDAR)

I. A. Pronicheva

*Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University
(Tula, Russia)*

Abstract. The article dwells upon the analysis of cultural connotations that belong to lexemes denoting animalistic New Year symbols borrowed from the Chinese calendar. The cultural connotations of lexemes express culturally specific evaluative features of lexemes that are understandable to all native speakers of the Russian language. The article compares cultural connotations of zoonyms denoting New Year symbols of the Chinese calendar, which are present in the Chinese and Russian cultures. The aim of the research is to reveal the means of interpreting Chinese calendar signs, which are used by modern media and commercial organizations to attract Russian-speaking customers.

Keywords: cultural connotation, Russian culture, Chinese culture, idiomatic unit, horoscope, mass culture.

В сознании современного человека соединились опыт предыдущих поколений и отражение новейших культурных и социальных явлений. Благодаря кумулятивной функции языка, т.е. способности языковых единиц накапливать и хранить культурную информацию, представления носителей того или иного языка о различных явлениях отражаются в семантике языковых единиц. Тот факт, что лексические единицы служат не только для передачи информации, но и для воплощения культуры народа, был отмечен лингвистами еще в XIX веке. По мысли

Вильгельма фон Гумбольдта язык выступает в качестве материального экспонента культуры, так как «разные языки – это не разные обозначения одной и той же вещи, а различные видения ее» [8, с. 35].

Согласно работам В. Н. Телии, «культурные особенности проникают в языковые знаки через ассоциативно-образные основания их семантики и интерпретируются через выявление связи образов со стереотипами, эталонами, символами, мифологемами, прототипическими ситуациями и другими знаками национальной культуры» [5, с. 25]. Именно система образов, закрепленных в семантике национального языка, является зоной сосредоточения культурной информации в естественном языке.

Одним из способов отображения культурно-национальной специфики языковых единиц является культурная коннотация, которая возникает как результат интерпретации ассоциативно-образного основания фразеологической единицы или лексической единицы посредством соотнесения его с культурно-национальными эталонами и стереотипами.

Ю. Д. Апресян в работе «Коннотации как часть прагматики слова» под коннотацией лексемы понимает «несущественные, но устойчивые признаки выражаемого ею понятия, которые воплощают принятую в данном языковом коллективе оценку соответствующего предмета или факта действительности» [1, с. 159]. Апресян полагает, что «коннотации характеризуют, как правило, основные, или исходные значения слов, а материализуются они в переносных значениях» [6, с. 67].

Коннотации вербализуются в переносных значениях, метафорах и сравнениях, производных словах, фразеологических единицах, определенных типах синтаксических конструкций, семантических областях действия одних единиц относительно других. Культурные коннотации узуальны, т.е. понятны всем представителям определенной лингвокультуры. Это способствует употреблению лексем во вторичной номинации (змея – о коварном человеке, баран – об упрямом человеке).

Культурные коннотации, присущие различным объектам и явлениям в русской лингвокультуре, понятны всем носителям русского языка. В связи с этим, культурные коннотации тех же объектов, характерные для других лингвокультур, воспринимаются носителями русского языка как чужеродные, непонятные, экзотические (например, слон как эталон грациозности в индийской культуре). Адаптация образов, представленных в заимствованных источниках, к восприятию русским человеком происходит на основе культурных коннотаций. Таким образом были адаптированы тексты западноевропейских сонников, появившихся в России в XVII веке и получивших широкое распространение в XIX – начале XX века. Современные сонники, основанные на культурных коннотациях ключевых лексем-образов сновидения, остаются популярными по сей день.

Не менее популярной гадательной практикой в современной культуре являются различные гороскопы. В преддверии нового года в продаже появляется разнообразная продукция с изображением символа наступающего года по Восточному гороскопу. Восточный гороскоп получил широкое распространение в России с 1990-х годов. Популярность образов Восточного календаря в России поддерживается в большей степени использованием данных образов в коммерческих целях (изображение животного-символа в печатной продукции, в рекламных роликах и т.д.). Следует отметить, что в китайской культуре, откуда был заимствован Восточный гороскоп, существуют существенные отличия в его интерпретации от той, которую предлагают СМИ и производители сувенирной продукции русскому потребителю.

Прежде всего, в Китае новый год по Восточному календарю наступает не 1 января, а в период с 21 января по 21 февраля (каждый год определяется точная дата). Состав образов Восточного календаря обусловлен высокой значимостью

определенных животных и мифических существ в китайской культуре. Однако для русской культуры некоторые образы являются нетипичными (дракон, обезьяна), а некоторые обладают негативными эмотивно-оценочными коннотациями (крыса, змея, свинья). Одним из доказательств важности Восточного календаря для носителей китайского языка является включение его образов в состав фразеологических единиц, например, «в год обезьяны и месяц лошади» (русским семантическим аналогом данного выражения является «после дождичка в четверг»).

Следует отметить, что далеко не все животные-символы имеют положительные коннотации в русской лингвокультуре. Вместе с тем, использование образов с негативными коннотациями в коммерческих целях непродуктивно. В связи с этим, в современной интерпретации образов Восточного календаря, направленных на русскоговорящего потребителя, на первое место выступают положительные коннотации соответствующих лексем.

Исследователи ранее обращались к вопросу сопоставления культурных коннотаций зоонимов в русском и китайском языках. Однако не можем согласиться с утверждением, что «национальные символические значения, свойственные животным в китайской культуре, оказывают влияние на мировосприятие русских людей» [3, с. 168]. Согласно проведенному нами исследованию, изначальные культурно обусловленные элементы значения зоонимов проходят процесс адаптации к восприятию носителями русского языка.

Рассмотрим подробно культурные коннотации зоонимов-знаков Восточного гороскопа в русской и китайской культурах. Источником фразеологических единиц китайского языка в данной работе является «Словарь привычных выражений современного китайского языка» (автор Кожевников И. Р.).

Первым знаком по Восточному гороскопу является крыса или мышь, что не имеет принципиальных различий для носителей китайской культуры. В китайской культуре с образами крысы и мыши связаны и отрицательные, и положительные ассоциации. В китайской мифологии крыса – одно из самых почитаемых животных. «Возможно, это связано с буддийской легендой, рассказывающей о том, что, когда Будда позвал всех зверей на празднование Нового Года и, соответственно, на прослушивание праздничной проповеди, именно Крыса явилась к нему самой первой (всего пришли двенадцать животных, которые и стали знаками китайского календаря. В мифологии Китая, Японии, Вьетнама, Кореи мышь почитается как один из знаков, приносящих денежный достаток. Получается, что мышь несет в себе положительное значение, олицетворяя собой мудрость, отзывчивость, умение рационально обращаться с деньгами» [4, с. 338].

Лексема «крыса» в китайском языке имеет следующие культурные коннотации: трусость и нерешительность («всего бояться, как крыса»), жестокость и коварство («воробыный клюв и крысы зубы» (жестокый и алчный человек), ничтожность, низость («печень крысы, лапки насекомого» (ничтожное существо)). Очевидно, что данные коннотации лексема «крыса» в русской культуре отсутствуют.

Образ крысы в русской культуре наделен исключительно негативной семантикой. Данная лексема используется во вторичной номинации для обозначения подлого человека, предателя. Дериваты, употребляемые в разговорной речи, – «крысятничать» (в арго: воровать у «своих») и «окрыситься» (обозлиться) – вербализуют отрицательные эмотивно-оценочные коннотации. Бюрократов и формалистов с презрением называют «канцелярской крысой». Эпитет «крысиный» всегда указывает на отрицательное отношение говорящего к определяемому объекту: «крысиные глазки» (бегающие, жадные), «крысиный хвостик» (о жидких волосах).

Согласно данным русского ассоциативного словаря, у большинства опрошенных лексема «крыса» вызвала следующие ассоциации (в порядке от самого популярного ответа к наименее распространенному): серая, хвост, белая, противная, мерзость, бежит, вор, зверь, мерзкая, грызун, грязь и подобные.

В связи с вышесказанным, образ крысы является крайне непривлекательным для использования в маркетинговых целях. Вероятно, именно поэтому производители сувенирной продукции чаще заменяют лексему «крыса» лексемой «мышь». Также нам встречалось словосочетание «год крыски». В данном словосочетании нивелируется негативная семантика лексемы «крыса», т.к. появляется ассоциация с чем-то веселым, игривым.

В русском языке лексема «мышь» также имеет негативные коннотации, но дескриптивные коннотации отличаются от коннотаций лексемы «крыса». В структуре коннотативного компонента семантики лексемы «мышь» выделяются компоненты «серость, неприметность» и «незначительность», что подтверждается фразеологизмами: «как мышь сидит кто-нибудь» (очень тихо ведёт себя), «мышьяная возня» (о мелких тайных интригах), «серая мышка» (неприметный человек), «мышьяный цвет» (серый). В фольклорных сказках встречается положительный персонаж «мышья-норушка», который ассоциируется с домашним уютом и заправистостью. Отсутствие коннотаций «подлость, предательство» делают образ мыши более привлекательным по сравнению с образом крысы.

В русском ассоциативном словаре представлены следующие ассоциации, вызываемые лексемой «мышь»: серая, белая, кот, кошка, летучая, крыса, грызун, компьютер, серость, бежит, боюсь, в Греческом зале и т.д. Можно сделать вывод, что приведенные ассоциации не содержат негативной оценки образа мыши. Респонденты упомянули кота и кошку как главных врагов мыши, летучую мышь (совершенно другое животное), крысу и даже компьютерную мышь.

Следовательно, с точки зрения маркетинга образ мыши можно представить нейтрально в товарах, рассчитанных на массового потребителя.

Более нейтральную семантику и в китайской, и в русской культуре имеет второй знак Восточного гороскопа – бык. В Китае образ быка ассоциируется с упрямством («бычий нор» (о строптивом человеке), «уперся, как бык в стену рогами» (упрямый человек)), глупостью («играть на цитре перед быком» (о глупом слушателе, который не может понять сути)) и силой («сильный как бык», «желтый вол» (о самоотверженном труженике)).

Культурные коннотации, присущие лексеме бык в русском языке, совпадают с китайскими культурными коннотациями, за исключением коннотации «глупость». В сознании русского человека лексема бык обладает следующими культурными коннотациями: сила, здоровье («бык» во вторичной номинации о сильном человеке мощного телосложения, «здоров как бык») и упрямство («уперся как бык»).

Третьим знаком Восточного календаря является нехарактерный для русской культуры образ тигра. В Китае тигр считается царем зверей и ассоциируется с силой, успехом, а также с могущественным злодеем. Всего в китайском языке около 60 фразеологических единиц с компонентом «тигр». Известны китайские фразеологизмы «улыбающийся тигр» (двуличный человек), «бумажный тигр» (аналог выражения «колосс на глиняных ногах», т.е. нечто с виду могучее, но по существу слабое), «принадлежащий к тиграм» (свирепый), «тигр и то бывает дремлет» (аналог выражения «и на старуху бывает проруха»). В китайском языке лексема «тигр» имеет следующие культурные коннотации: сила («спина тигра и поясица медведя» (о здоровом, крепком человеке)), быстрота («как дракон взлетает, как тигр прыгает» (быстро)), выдающиеся способности («тигр и дракон среди людей» (о выдающемся человеке), «спрятавшийся дракон и спящий тигр» (о скрытом таланте)). На внешнем облике тигра основаны положительные коннотации данной лексемы, а на жизненном опыте базируются представления о его коварстве и жестокости [3, с. 170], вербализующиеся в следующих коннотациях: жестокость («помогать тигру пожирать пищу» (быть пособником злодея), «преградивший дорогу тигр» (разбойник)), алчность и жадность («смотреть тигром» (алчно взирать), «как голодный тигр набрасывается на пищу» (жадно)).

В русской лингвокультуре у лексемы «тигр» отсутствуют культурные коннотации. Данное животное обитает только на Дальнем Востоке и, вероятно, в этом регионе есть свои устойчивые выражения, включающие лексемы «тигр», но для носителей русского языка в целом образ тигра воспринимается как нехарактерный, экзотический. Согласно «Русскому ассоциативному словарю», лексема «тигр» вызывает следующие ассоциации у опрошенных: полосатый, кошка, зверь, злой, уссурийский, хищник, красивый, в зоопарке.

Благодаря своему яркому и эффектному внешнему виду, тигр привлекателен как рекламный образ и широко используется в сувенирной, печатной и прочей коммерческой продукции.

Четвертым знаком Восточного гороскопа выступает кот. В китайской фразеологии кот олицетворяет притворство («кот оплакивает мышь» (притворное сожаление) и непорядочность («кот должен ловить мышь, но он не выполняет свою обязанность, а кусает попугая, который дружит с людьми» (о притеснении хорошего человека)). В китайской мифологии и фразеологии кошки упоминаются крайне редко и оцениваются только функционально – как существа, истребляющие мышей.

В русской культуре образ кошки/кота представлен разносторонне: «черная кошка» (плохая примета), «живуч как кошка» (о человеке, выживающем в любых условиях), «как кошка с собакой» (о враждующих людях), «играет как кошка с мышкой» («о том, кто, скрывая своё истинное лицо, то мягок, то жесток с тем, кто от него зависит, кто будет его жертвой» [7, с. 326]), «кошки скребут на сердце» (о состоянии тревоги). Таким образом, можно выделить такие культурные коннотации лексемы кошка, как хитрость и живучесть. В «Русском ассоциативном словаре» представлены следующие ассоциации со лексемой «кошка»: черная, собака, мышка, Мурка, мягкая, пушистая. Образ кошки/кота как символа года представляется в массовой культуре с опорой на русские культурные коннотации.

Образ дракона является ключевым для китайской культуры, ведь китайцы считают себя потомками дракона. В китайском языке обнаружено более 80 фразеологизмов с ключевой лексемой «дракон». Культурные коннотации, присущие лексеме «дракон» в китайском языке, следующие: сила, власть, авторитет, энергия, величественность («дракон – сын неба» (император), «лелеять мысль о том, что сын станет драконом», т.е. талантливым и знаменитым).

Для русской лингвокультуры образ дракона является чуждым. В фольклорных сказках и былинах встречается персонаж – змей, сильный и разрушающий все вокруг (Змей Горыныч, Тугарин Змей). Современному человеку знаком образ дракона из европейских сказок и произведений в жанре фэнтези. В «Русском ассоциативном словаре» содержатся следующие ассоциации: огонь, огнедышащий, сказка, страшный, зеленый, змей, огненный, трехглавый, большой, Китай [4].

Образ дракона как символа года, представленный в массовой культуре, привлекателен, но для носителей русского языка не имеет особенного культурного смысла, т.к. не обладает культурными коннотациями.

Образ змеи и в китайской, и в русской культуре имеет коннотации «злая», «жестокая», «коварная». В Китае известны фразеологизмы «пригреть змею на груди» (неблагодарный человек), «местная змея» (местный чиновник), «красивая женщина – змея» (красивая и злая) [2, с. 205]. Фразеологизмы «отогрел змейку на свою шейку», «пригрел змею за пазухой», «змея подколотная» распространены в русской лингвокультуре. Также лексема «змея» употребляется во вторичной номинации для обозначения злого, жестокого, коварного человека. В отличие от русского языка, в китайском языке образ змеи наделен таким качеством, как жадность («жадная змея забывает о хвосте» (хвататься за любую выгоду, не думая о последствиях)). Образ змеи вызывает у русских респондентов следующие ассоциации: подколотная, ядовитая, гадюка, кобра, длинная, ползет.

Несмотря на отрицательные эмотивно-оценочные коннотации, в китайской культуре образ змеи наделен и положительным качеством – мудростью («жемчужина чудесной змеи» (ум, остроумие)). В массовой культуре для носителей русского языка змею как символ года представляют в положительном свете, акцентируя внимание на мудрости змеи.

Лошадь исторически выполняла разные функции у русских и китайцев. Для китайцев лошадь – средство передвижения, широко используемое на войне, а для русских – животное, незаменимое для сельского хозяйства. Культурные коннотации лексемы «лошадь» отражают данные различия. В русском языке лексема лошадь имеет культурные коннотации «трудолюбие», «выносливость» («ломовая лошадь» (самоотверженный труженик), «рабочая лошадка» (трудолюбивый человек), «работать как лошадь» (много и тяжело работать)). В китайском языке лексема «лошадь» имеет коннотации «талантливый лидер» («превосходный конь ведет табун лошадей» (лидер)), «здоровый и энергичный» («крупный, как лошадь»). В современной массовой культуре образ лошади как символа года воплощает и русские, и китайские коннотации, так, как и те, и другие представляют данный образ с положительной стороны.

В китайском языке коза и овца обозначаются одним иероглифом и ассоциируются с кротостью и покорностью («гнать овец воевать с волками» (слабые покорно идут на борьбу с сильными), «овца пришла к тиграм» (слабый человек попал в руки злодея)). В русской лингвокультуре лексема «коза» имеет культурные коннотации «строптивая», «своевольная» (употребление лексемы «коза» во вторичной номинации для обозначения стропливой женщины), а лексема «овца» имеет коннотации «покорный», «недостойный» («паршивая овца», «с паршивой овцы хоть шерсти клок», «паршивая овца все стадо портит»). В современной русской массовой культуре овца/коза как символ года представляются на основе коннотаций, характерных для русского языка.

В китайском языке лексема «обезьяна» имеет коннотации «торопливость, озорство, непоседливость» («принадлежащий к обезьянам» (непоседливый)), глупость («увидев луну в колоде, обезьяны считали, что луна упала в колодец, и пытались ее выловить» (о глупом человеке)). В русском языке обезьяной называют человека, который кривляется, передразнивает других, подражает другим. Данная лексема не обладает ярко выраженными культурными коннотациями, т.к. обозначаемое ею животное не обитает в России и знакомо носителям русского языка по книгам, фильмам и походам в зоопарк. Лексема «обезьяна» вызывает у респондентов весьма разрозненные ассоциации: макака, человек, животное, джунгли, зоопарк, банан, в клетке.

В массовой культуре обезьяна как символ года представлена как забавное, безобидное, озорное существо, что основано на воплощении образа этого животного в фильмах, мультфильмах, художественных произведениях и т.д.

Лексема «петух» и в русской, и в китайской культуре имеет коннотации «задиристость, боевитость» (русские ФЕ «ходить петухом» (с гордым и важным видом) [7, с. 632]), «петушиный голос» (звонкий), «петушиный задор» (задиристое поведение), китайские ФЕ «два петуха в одном доме делают жизнь невыносимой» и др.). В массовой культуре воплощение образа петуха как символа года не только отражает культурные коннотации, но и акцентирует внимание на его ярком внешнем виде.

Образ собаки в русской культуре воспринимается двояко. С одной стороны, собака – верный друг человека («собачья преданность», «собака – друг человека»), но, в то же время, собака может быть злой («злой, как собака») и олицетворять низость («жить как собака»). Данная лексема используется при обозначении различных неприятных состояний («устал, замерз как собака», «надоед как собака»). Во вторичной номинации лексема «собака» используется для обозначения злого и

неприятного человека. Таким образом, отрицательные эмотивно-оценочные коннотации лексемы «собака» преобладают над положительными. Среди всех ассоциаций с лексемой «собака», представленных в русском ассоциативном словаре, на первом месте с наибольшим числом респондентов находится ассоциация «злая».

В китайском языке употребление слова «собака» по отношению к человеку считается оскорблением, так как сочетает в себе коннотации «подлость, низость, злость, недостойное поведение». В древнем Китае собака причислялась к нечистым существам, поэтому существует много ФЕ с отрицательной семантикой («из собачьей пасти не жди слоновьей кости» (не жди доброго слова от плохого человека), «собака кусает собаку – полная пасть шерсти» (никчемная ссора), «грязный, как свинья и собака, все тело покрыто грязью» (низкий, подлый человек)) [3, с. 175].

В современной русской массовой культуре образ собаки как символа года преподносится с опорой на положительные коннотации данного образа (собака – верный друг, охраняет дом и т.д.).

Двенадцатым образом Восточного календаря является образ свиньи. В русской культуре лексема «свинья» имеет исключительно отрицательные эмотивно-оценочные коннотации: «нечистоплотность», «глупость» («грязный как свинья», «свинья грязь найдет», «свинарник» (грязное помещение), разг. «насвинячить» (устроить беспорядок), во вторичной номинации «свинья» (о грязном человеке или о человеке, поступающем непорядочно), «поступить по-свински» (непорядочно), «метать бисер перед свиньями» (напрасно говорить о чём-либо или доказывать что-либо тому, кто не способен или не хочет ни понять). В китайском языке лексеме «свинья» присущи коннотации «неопрятность», «грубость», «прожорливость» («принадлежащий к свиньям» (прожорливый)). В современной русской массовой культуре образ свиньи как символа года выступает в значении достатка (свинья-копилка), нехарактерном для русской лингвокультуры. Использование образа свиньи, основанного на культурных коннотациях лексемы «свинья», сделает сувенирную, книжную, рекламную и прочую продукцию непривлекательной для потребителя.

В заключение следует отметить, что Восточный гороскоп в России стал неотъемлемой частью современной культуры, однако, он прошел процесс переосмысления через призму восприятия китайских животных-символов года русским человеком с его культурными и морально-этическими установками. Важную роль в процессе адаптации образов заимствованного гороскопа играют культурные коннотации соответствующих лексем.

Список источников и литературы

1. Апресян Ю. Д. Основные идеи современной семантики // *Избранные труды: в 2 т. Т. 1: Лексическая семантика: синонимические средства языка*. 2-е изд., испр. и доп. М., 1995. С. 6–55.
2. Кожевников И. Р. *Словарь привычных выражений современного китайского языка*. М.: АСТ: Восток-Запад, 2005. 333 с.
3. Михайлова Ю. Н., Чжао И. Культурные коннотации зоонимов в русской и китайской фразеологии // *Известия Уральского федерального университета. Сер. 2: Гуманитарные науки*. 2016. Т. 18, № 4. С. 168–181.
4. *Русский ассоциативный словарь [Электронный ресурс] // Информационная система когнитивных экспериментов: [сайт]. 2009–2012. URL: <http://thesaurus.ru/dict/> (дата обращения: 20.11.2019).*
5. Суван-оол Е. С., Лебедева И. О. Образ мыши как отражение характерных черт облика и характера человека в русской и китайской культуре (на материале

фразеологизмов русского и китайского языка) // Молодой ученый. 2012. № 12. С. 336–339.

6. Телия В. Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. М.: Наука, 1986. 143 с.
7. Токарев Г. В. Лингвокультурология : учеб. пособие. Тула: Изд-во ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2009. 135 с.
8. Толковый словарь русского языка / под ред. Д. Н. Ушакова. М.: Русский язык, 2000. 986 с.
9. Хроленко А. Т. Лингвокультуроведение : учеб. пособие. М.: Флинта : Наука, 2005. 184 с.

References

1. Apresyan Yu. D. Osnovnyye idei sovremennoy semantiki [Basic Ideas of Modern Semantics]. *Izbrannyye trudy: V 2 t. Tom I: Leksicheskaya semantika. Sinonimicheskiye sredstva yazyka* [Selected Works: in 2 vols. Vol. I: Lexical Semantics. Synonymic Means of Language]. Moscow: Sh. «Yaz. rus. kultury» publ, 1995, pp.135–155. [In Russian].
2. Kozhevnikov I. R. *Slovar' privychnykh vyrazheniy sovremennogo kitayskogo yazyka* [Dictionary of Common Expressions of the Modern Chinese Language]. Moscow: AST: Vostok – Zapad publ, 2005. 333 p. [In Russian].
3. Mikhailova Yu. N., Zhao I Kul'turnyye konnotatsii zoonimov v russkoy i kitayskoy frazeologii [Cultural Connotations of Zoonyms in Russian and Chinese Idioms]. *Izvestiya Ural'skogo federal'nogo universiteta* [Ural Federal University Bulletin]. Series 2: Humanities, 2016, pp. 168–181. [In Russian].
4. *Russkiy assotsiativnyy slovar'* [Russian Associative Dictionary]. URL: <http://thesaurus.ru/dict/> (accessed: 20.11.2019). [In Russian].
5. Suvan-ool E. S., Lebedeva I. O. Obraz myshi kak otrazheniye kharakternykh chert oblika i kharaktera cheloveka v russkoy i kitayskoy kul'ture (na materiale frazeologizmov russkogo i kitayskogo yazyka) [The Image of a Mouse as the Reflection of Typical Features of Appearance and Character of a Human in the Russian and Chinese Cultures (based on Russian and Chinese Idioms)]. *Molodoy Uchenyy*, 2012. No. 12. Pp. 336–339. [In Russian].
6. Teliya V. N. *Konnotativnyy aspekt semantiki nominativnykh yedinit* [Connotative Aspect of Semantics of Nominative Units]. Moscow: Nauka publ, 1986. 142 p. [In Russian].
7. Tokarev G. V. *Lingvokul'turologiya: Ucheb. posobiye* [Linguistic and Cultural Studies: Textbook]. Tula: Izd-vo Tul.gos.ped.un-ta im. L. N. Tolstogo publ, 2009. 135 p. [In Russian].
8. Ushakov D. N. (Ed.) *Tolkovyy slovar' russkogo yazyka* [Explanatory Dictionary of the Russian Language]. Moscow: Russkiy Yazyk publ, 2000. 986 p. [In Russian].
9. Khrolenko A. T. *Lingvokul'turovedeniye: Ucheb. posobiye* [Linguistic and Cultural Studies: Textbook]. Moscow: Flinta; Nauka publ, 2005. 184 p. [In Russian].

Сведения об авторе

Проницева Инна Александровна –
старший преподаватель кафедры
русского языка как иностранного
ФГБОУ ВО «Тульский государственный
педагогический университет
им. Л. Н. Толстого»
(e-mail: kafedra.rki@tspu.ru).

Information about the Author

Pronicheva Inna Alexandrovna,
senior lecturer of the Department of Russian
as a Foreign language of the Tula State
Lev Tolstoy Pedagogical University
(e-mail: kafedra.rki@tspu.ru).